

Николай Климонтович

СКОЛЬЗКАЯ ДОРОЖКА

роман-автобиография

Москва
Издательство «БПП»
2010

Оглавление

Глава I	3
ГОРОХ.....	3
Глава II	19
ДЕТСКАЯ.....	19
Глава III	31
И ПИТАЕТСЯ НЕ ЩАМИ	31
Глава IV	52
СКОЛЬЗКАЯ ДОРОЖКА	52
Глава V	66
В ПОДПОЛЬЕ.....	66
Глава VI	95
ЛЕНЕЧКА	95
ГЛАВА VI.....	116
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ	116
Глава VII	141
... И СЕМЬ ГНОМОВ	141
Глава VIII	184
ДРАГОЦЕННЫЙ БИСЕР	184
ГЛАВА IX.....	202
ВТОРАЯ ПЕЧАТЬ	202
Глава X	220
И ЗАНАВЕС ЗАКРЫВАЕТСЯ.....	220
Глава XI	243
СТРОЕНИЕ, СТОЯВШЕЕ ОТДЕЛЬНО.....	243
Глава XII	251
ТОТ СВЕТ	251
ЭПИЛОГ 2001 ГОДА	302
ЭПИЛОГ 2008 ГОДА*	303
примечания	304

Глава I

ГОРОХ

Сталин не любил науку генетику. Ибо, коли следовать ее логике, выходит никак невозможным, чтобы недоучившийся семинарист, сын пьяного сапожника, стал повелителем огромной державы. Вряд ли генералиссимус штудировал работы старого чешского монаха с описаниями закономерностей размножения гороха на монастырском огороде и, скорее всего, ничего не ведал о рецессивных и доминантных генах. Но он сделался императором, встав в ряд тех, о ком с оттенком подобию повествуют учебники истории Древнего мира, подчинив сотню народов и три десятка стран. И генетику справедливо запретил, как не согласующуюся с результатом эксперимента.

Здесь одна тонкость. Как о всяком при жизни обожествленном правителе, народ слагал о нем легенды — точнее, о его, Сталина, чудесном рождении. Нет, ему не приписывали происхождения от Духа Святого, что было бы неуместно и неумно в материалистический век в атеистической стране. Не имела хождения и очередная версия древнего мифа о царственном найденныше, приплывшем по волнам к славе и власти. Распространенный апокриф, куда более изощренный, утверждал, что отцом диктатора был не сапожник, но — поляк и шляхтич Пржевальский, русский путешественник, давший свое имя подвиду азиатской дикой лошади. И даже находили у них портретное сходство. В насильст-

венно оседлой стране сам дух странствий уже, видимо, казался достаточно чудесным, поскольку географические концы с концами в этой версии не сходились,— Пржевальский на Кавказе никогда не был. Не сходятся и хронологические — по возрасту путешественник не годился в отцы Сталину. Но, так или иначе, важно, что народ стихийно оказался-таки в легкой форме отравлен духом монастырской науки, поскольку эта фольклорная генетическая версия все-таки более правдоподобно объясняла случившееся, чем реальная биография простолюдина-тирана. Характерно, что за эти разговоры не сажали, во всяком случае, о такого рода делах ничего нельзя прочесть даже у въедливого историка террора Солженицына. А сам Сталин, кажется, не настаивал на законности своего сапожного рождения.

Выходит, легко было разогнать парочку лабораторий и посадить три десятка ученых, но с вековым народным опытом, гласившим, что, мол, горошина от гороха недалеко катится, поделаться ничего нельзя. Как и с собственными маленькими слабостями, потому ведь и Пржевальский, чего не бывает, мог оказаться тайным гидеминовичем. Ибо задолго до менделеевского желтого гороха люди кичились своими славными родословными и стыдились худородия. Обещание большевиков, что, мол, кто был ничем — тот станет всем, в этом смысле надо понимать как бунт против вековых сословных предрассудков и генетических законов. В обещании этом содержится посул всякому выблядку подыскать знатного родителя, и ирония истории в том, что завет этот сбылся, но в несколько карикатурной форме: победившие бастарды получили-таки одного на

всех папашу, но с теми же серпом и молотом в фамильном гербе...

Я родился за два года до смерти Сталина и столь глубоко запавших в память народную его похорон не помню. Но кто ж мог знать, что через двадцать без малого лет после этого события (я имею в виду собственное рождение, а не сталинские похороны) буду сидеть со сталинской внучкой Катей за одной партой на физическом факультете Московского университета на семинаре по истории КПСС, некогда так восхитительно кратко изложенной ее дедом.

Я отчетливо помню, как мы с ней впервые заговорили. Под партой я держал свежий номер Нового мира, который читал, не отрываясь, не слыша ничего вокруг, и она, видимо заинтригованная, шепотом спросила а что это у тебя, надеясь, быть может, на нечто самиздатовское. Но это был вполне легальный айтматовский Белый пароход, а значит, можно точно назвать время, когда дело происходило, — осень 70-ого, незадолго перед тем, как Твардовский был низложен с поста главного редактора, и последний оплот хрущевского либерализма славно пал. Эта киргизская повесть, написанная в жанре, как сказали бы после появления у нас переводов Маркеса, магического реализма, стала последней вольной песней русского раскулаченного поэта, подвизавшегося в качестве редактора тогдашнего флагмана оттепельной отечественной журнальной словесности и выпустившего из бутылки на свет Божий целую плеяду прозаиков-фрондеров

— от деревенщиков Абрамова, Астафьева, Тендрякова, Можая и, кажется, самого молодого из них Распу-

тина, до Фазиля Искандера, Юрия Трифонова и опальных позже Войновича, Владимова, Максимова и — главное его свершение — того же Солженицына. Этот самый Белый пароход я с тех пор в руках не держал, не любя поздние вычурные, подчас пошлые, романы этого автор, но тогда эта повесть произвела на меня впечатление откровения, и не в последнюю очередь потому, что проблему национальных меньшинств Айтматов трактовал вкось официозу: мол, русские колонизировали и споили, лишив корней, древний народ, а не вытащили из тьмы невежества и приобули, как было принято утверждать (это сейчас видно, что и то и другое — сущая правда, причем неясно, что — в большей мере). Но все это к слову.

Катя Жданова была, к ее несчастью, внешне вполне в дедушку, но отчасти и в лошадь Пржевальского: кургузая, приземистая, в заду по-крестьянски знатная, к тому ж с какой-то болезненной краснотой по кавказской физиономии, рядом с которой рябое лицо отца народов могло б сойти за пригожее. Бог знает почему мы оказались в аудитории рядом, ибо я, помнится, испытывал к ней сложное чувство, брезгливость смешанную с душевным трепетом, как к Царевне-лягушке. Я не на миг не забывал, что ее дед расстрелял обоих моих, но этот факт маячил как-то на втором плане. На первом же было то обстоятельство, что она принадлежала кругу самой высшей какой ни есть на нашей грешной земле номенклатуры. И мой трепет, думаю, хоть это и кажется нынче несколько преувеличенным, был замешан на остром любопытстве и энтузиазме, своего рода восторге свидетеля истории, который невольно любит сам

собой и своей исторической ролью, пусть пассивной. В Кате было барственное высокомерие, но какое-то жалкое, полагаю — во многом защитное, и это понятно, если знать, какое кошмарное детство выпало на ее долю. Ее мать после ее очередной половой эскапады была выдана папашей, посадившим и этого любовника, за сына соратника. От того, едва стало возможно, она тут же сбежала, и недаром ее несчастная дочь, сообразительная и едкая, вышла потом за хорошего простого парня из нашей же группы и исчезла с ним куда-то по направлению к Южному Уралу. Мало вероятно, но чем черт не шутит, быть может, они и поныне счастливы.

Наверное, не один я из сокурсников испытывал в ее присутствии социальное томление, ведь она была почти принцесса, пусть и низвергнутая, а мы — из бедноватых рабочих ли, профессорских ли семей. Но меня с ней примирял, то есть делал дистанцию между нами преодолимой, тот факт, что она в это время — как это ни смешно — была гонима. В университете она претерпевала страдания именно от преподавательницы истории КПСС, отчаянной сталинистки, что, кстати, на рубеже 70-х было пусть безопасной, но все-таки еще фрондой. Преподавательница эта именно ее, родную внучку кумира, нещадно травила, заставляя — одну во всей группе — составлять бесконечные конспекты трудов классиков марксизма. Вне же стен *alma mater* Катю столь же тщательно мучил КГБ, контролируя всякий ее шаг. Дело состояло в том, что незадолго до этого ее мать Светлана Алилуева в очередной раз дала деру, на этот раз сбежав в Дели из окна советского посольства от очередного мужа, советского дипломата, — на Запад.

Она сбежала заодно и ото всей советской власти, которую столь изобретательно укреплял ее отец. Теперь она трогательно рассказывала по Би-Би-Си о привязанности своей дочери к лошадям, в то время как КГБ заставлял ту под диктовку составлять ответные письма беглой мамаше.

Помню, я единственный раз был в ее квартире, в знаменитом доме на набережной и сейчас серой невнятной громадой маячущим на стрелке между Яузой и Москва-рекой. Она устроила вечеринку для сокурсников, и, помнится, идти к ней было страшновато и сладко, как на выпивку в Мавзолей. Квартира оказалась столь огромна, что превышала все мои понятия о жилой площади, а ведь я бывал в коммуналках с километровыми коридорами. Но одно дело гулять в парке культуры имени Горького, другое — очутиться за высокой стеной соловьиного сада. Томясь и благоговей, я пригласил ее на танец. Мне хорошо запомнилось, что я смог выговорить лишь одну дурацкую фразу — из молодой робости и дешевого кокетства: я интеллигент в первом поколении. Зачем я это сказал? Наверное, чтобы она обратила внимание на мою несхожесть с остальными студентами, преимущественно рабоче-крестьянского разлива, и зашел, так сказать, от противного, дав ей шанс удивиться. Но фокус не удался, и моя глупая уловка была тотчас посрамлена. «Хорошо, что не в последнем», молвила внучка тирана, и сейчас, вспоминая эти ее слова много лет спустя, я слышу в них несколько зловещий второй смысл.

Между тем я лукавил, конечно.

Меня воспитала бабушка по материнской линии Нина Николаева — единственная разночинка в нашей семье, из нижегородских мещан. Впрочем, считалось, что на самом деле она дочь ссыльного польского офицера, шляхтича, родившего с ее матерью троих детей и помершего от туберкулеза. А отчим-еврей держал в Нижнем небольшую фабричку канцелярских, что ли, принадлежностей, и прабабке после его смерти достались в Нижнем несколько хороших домов, которые она сдавала внаем. Бабушка училась в Москве на актрису в частной театральной школе в классе Вахтангова, откуда ее изъял ее будущий муж, мой дед, Иосиф (у него в метрике было еще штук десять имен) Маевский, его расстреляли на Лубянке в 39-ом по обвинению в многообразном шпионаже. Был он по женской линии из сербских графов Милатовичей, по мужской — из мелкопоместной польской шляхты с именем на Галичине, в Прикарпатье. Его отец был уже не помещиком, но инженером по возведению паровых мельниц, технической элитой по тем временам, и работал по контрактам в основном на богатом юге России. Дед до четырнадцати лет, насколько мне известно, в России провел лишь несколько месяцев — в иезуитском колледже в Одессе, откуда его быстро забрали за несносность поведения. Он рос в семье матери в Далмации на руках бабушки и тетки, которая потом была фрейлиной венского двора и воспитательницей принца Рудольфа. Роль последнего сыграл Омар Шериф в Майерлинге, знаменитой драме о двойном самоубийстве наследника австро-венгерского престола, неудачно пытавшегося поднять венгерское восстание, и его возлюбленной. Кстати, с

этой самой теткой связаны некоторые семейные предания. Она осталась старой девой по зарок, данному себе в ранней молодости, храня верность застрелившемуся возлюбленному. История была самая мелодраматическая — юноша не смог пережить отказа ее родителей, не согласившихся на мезальянс дочери. Бабушка рассказывала, что видела эту легендарную тетку перед первой мировой войной, когда та прикатила в Москву уговаривать деда принять титул и вступить во владение руинами фамильного замка где-то под Триестом, поскольку мужская линия графов Милатовичей пресеклась. Но дед лишь посмеялся, ибо был уж записным социалистом, но об этом позже.

Несколько лет назад в компании троих русских поэтов-разночинцев смурным декабрем я оказался в Вене, и симпатичная австрийка-славистка, чем отпустить опохмелиться, потащила нас на воскресную экскурсию к черту на рога — в летний загородный дворец Габсбургов. Бродя по бесконечной анфиладе комнат, в которых неутомимая Мария-Терезия рожала своих то ли шестнадцать, то ли восемнадцать детей и откуда правила империей, я вдруг сообразил, что именно по паркету этого дворца не так давно, меньше ста лет назад, шуршала юбками не такая уж моя дальняя родственница, ибо я, как ни крути, правнук этой самой тетки Жозефины. И если бы я писал роман, то в этом месте герой остановился бы, как громом пораженный, и череда фамильных портретов прошла бы перед его мысленным взором. Я же в душе клял австрийское правительство за драконовскую политику в области импорта пива, так что вместо Гиннеса, Хейнекена или на худой конец Туборга

придется пить сейчас австрийское пиво Астра, весьма далекое от эталонов международного качества...

В России дед Маевский жил еще года три, с четырнадцати до шестнадцати, обучаясь в гимназии славного города Кременчуг, куда забросила инженерная судьба его отца, и знатоки утверждают, что в те времена это была не такая уж тмутаракань, как нынче. После чего благополучно отбыл в Женевский университет, где обучался на врача и пристрастился к Прудону и Бакунину. Эта его анархическая страсть привела сначала к эпистолярному, а потом и к очному знакомству с князем Кропоткиным, и в московских архивах одним исследователем были найдены его письма князю из Швейцарии в Лондон, писанные на чистейшем русском языке, и для меня по сей день остается загадкой, где же дед успел так по-русски наблаться. Впрочем, позже, когда в самом конце 90-х дед уехал в качестве врача с так называемой кипрской партией гонимых в России сектантов-духоборов, которую снаряжал актер и режиссер Сулержицкий на деньги Толстого, вырученные за Воскресенье, — в Канаду, то оттуда он писал своему гуру уже по-английски. Кстати, это знакомство было весьма близким, потому что в начале 20-х бежавшая с Украины в Москву с младшим сыном на руках моя бабка какое-то время перемогалась в Дмитрове у кропоткинской вдовы, и желающие и сегодня могут отправиться в этот унылый городок, куда нас, возможно, еще заведет повествование, и побывать в доме-музее анархического князя-реэмигранта, которого предусмотрительный Ленин на дух не пускал в большевистскую Москву.

Дальнейшие приключения деда не менее заманчивы. Поскольку дремучим духоборам в Канаде дурили головы, поселив на неудобьях и мухлюя с семенами, то один отряд дед самочинно переправил в Калифорнию, где и покинул на милость штатного правительства и милого климата, сам устроившись врачом в клинику профессора по чудом выжившей в семейной нашей памяти фамилии Мантгомери. И здесь к месту вздохнуть: сколько вещей погибло, сколько жизней отправлено в распыл, но по прошествии почти ста лет некий российский литератор выводит на своем компьютере никому не нужное американское имя, и в чем причина такой избирательности судьбы имен и вещей.

Здесь дед дает резкий крен вправо, по-европейски полагая, очевидно, что убеждения — дело только его личной совести: из анархиста он превращается в левого социалиста. Пропустим социалистическую катавасию с бежавшим из России эсером-террористом каторжником Гершуни, с визитом в Америку Максима Горького, шлявшегося по кабакам города Желтого Дьявола (почему не Зеленого Змия), а также с Джеком Лондоном, ухлестывавшим одно время за социалисткой из русских евреек Анной Струнковой, равно как опустим и переписку с доктором Русселем, экс-президентом Гавайских островов, издававшим в то время в Японии социалистическую газету для русских военнопленных. Итак, мы подбираемся к 909-му, когда дед, бросив все к чертовой матери, нежданно покидает Америку с американским, разумеется, паспортом в кармане и направляется — в Россию, и из его письма можно позаимствовать такую цитатку: «В Европе не остановлюсь даже, не

хочу пополнять собою толпы празднующихся эмигрантов». То есть, так надо понимать, дед числил себя русским эмигрантом, хотя — что в нем, собственно, было русского? Бином Ньютона...

Позже, когда время потребовало от него, до мозга костей европейского космополита, как сказал бы юнгианец — самоидентификации, он, что еще смешнее, заделался украинцем, и бабушка вспоминала, как принимала в Москве за чайным столом — Петлюру, служившего тогда в банке, щеголявшего в расшитой фольклорной рубашке и валявшего украинские вирши а la Шевченко. История женитьбы деда на бабушке имеет в истории русской литературы прямой аналог: на каникулах она подменила свою подругу в качестве стенографистки у новоиспеченного владельца издательства Атенеум американского гражданина г-на Маевского, носившегося с идеей издать своего приятеля Лондона по-русски, ибо тот подарил ему все права на издание своих вещей в этой далекой климатически, но такой близкосоциалистической стране. Замечу, что из идеи ничего не вышло, дед быстро обошли акулы издательского бизнеса, не имевшие никаких прав, но зато более скорые. Россия, что вы хотите. Впрочем, он с успехом издавал летучую библиотеку, серию популярных книжечек с биографиями передвижников, которые сочиняла моя бабка. Она же кое-что переводила для издательства с немецкого — из Гауфа и братьев Гримм. А в 15-м дед неплохо заработал на издании военных карт, но в 17-м, опять-таки бросив все, включая вполне приличный дом в Москве и дачу в районе Баковки, отправился на Ук-

раину делать там революцию. В 1919 дед даже входил в Киеве в Малую Раду, вместе с Грушевским и Виниченко.

Все и продолжалось в таком же приключенческом беллетристическом ключе, вполне по сути дела майнридовском. Малая Рада пала, пришел гетман Скоропадский (и это время мы все помним по Турбинным и Бегу), потом у власти оказался Петлюра и неблагодарно назначил награду за голову деда, к тому времени очутившегося во враждебном стане (вот и пои после этого чаем с баранками политических сподвижников). Дед к тому времени подался в партизаны, но поскольку был убежденным пацифистом, то вышагивал в голове своего отряда без оружия, помахивая тросточкой. Его любопытствующий внук не поленился и разыскал (дело происходило еще при советской власти) в Ленинке чудом не отправленный обратно в спецхран том материалов о гражданской войне на Украине, изданный при Хрущеве. И нашел такой текст телеграммы деда: «Полковнику Тютюннику. Большевики захватили станцию Бар. Срочно высылайте бронированный поезд. Маевский».

Как и положено, в разного рода унесенных ветром, газетное сообщение о расстреле мужа бабушка получила в Харькове, который жил тогда под террором анархических банд зеленых, не тех, какие нынче блюдут экологическую чистоту, но выступавших под политическим лозунгом украинские пролетарии всех стран соединяйтесь. Невозможными эшелонами стала пробиваться она в Москву, где и приютила ее, как сказано, овдовевшая княгиня. Сохранилось письмо деда, составшего из мертвых. Он сообщал, что его захватили в тифу, а поскольку шансов выкарабкаться у него не было,

то расстреливать поленились, хотя действительно имели такое твердое намерение. Месяца через два семья воссоединилась. Казалось бы, тут и утихомириться бы, но дед опять пускается на Украину, организует коммуны из немцев-колонистов в Тавриде, гоняет за семенами в тогдашнюю украинскую столицу Харьков — к комиссару Раковскому, тоже расстрелянному позже за троцкизм, знакомцу еще по русской революционной Женеве. Когда коммуны отменили, дед работает в Аскании-Нова, откуда семья бежит под прикрытием ночи на телеге ввиду каких-то смутных, но угрожающих обстоятельств (кажется, его предупредили о заговоре против его жизни окопавшихся здесь белых офицеров). Оседает в Харькове, где выпускает толстенную книгу о всемирном опыте сельскохозяйственной кооперации на украинском языке, работает переводчиком у американских спецов на Днепрострое (это время уже помнила моя мать), и, наконец, оказывается референтом американского посла в Москве — с пристойной зарплатой в валюте, так что и икра, и шубы приобретаются в Торгсине. Хэппи энд, коли бы не дедов характер. В 36-м году, без малого шестидесяти лет от роду, он решает отправиться в Испанию врачом в республиканскую армию. Американский его паспорт давно просрочен, поэтому для получения выездной визы он обращается в советские органы с длинным письмом и прилагает к нему подробную автобиографию. При аресте берут лишь то, что написано по-иностранному (дневники дед вел всю жизнь на природном итальянском), и — портрет Пушкина, показавшийся чекистам подозрительным. Разбирая чудом уцелевшую за годы эвакуации в Горьковскую область

(которая началась в 38-м как бегство) часть его русскоязычных бумаг, я обнаружил, что помимо заметок по истории французской революции (он перед арестом переводил Дантона) и записок для памяти («большевики поставили над русским народом чудовищный эксперимент», но это не пошло на Лубянку по обычной русской недобросовестности обыскивавших), я обнаружил полторы главы романа, писавшегося им. Посвящены эти странички восстанию какого-то полка на Галичине в 19-м году, но не понять из этого отрывка — ни чей был полк, ни на чьей стороне намеревался сражаться. Кажется, дед мой не был самобытным прозаиком, но мне показалось знаменательным само поползновение... Заканчивая о нем, скажу, что по линии Маевских мужчины всегда кончали плохо. Отец деда сошел с ума во время гражданской войны, увидев, как революционные массы жгут построенное им. Старший брат деда заделался знатным большевиком, руководил какое-то время Туркестаном и был расстрелян как троцкист. Другой брат, как положено в романе, был адъютантом гетмана Скоропадского и был расстрелян теми же большевиками. Двое других эмигрировали, один из них был инженером-строителем в Америке и погиб, сорвавшись с лесов, о другом до ареста деда доходили смутные сведения из Парижа, и моя мать какое-то время полагала, что можно рассчитывать в один прекрасный день получить весточку от ее французского дядюшки.

Отцовские родные были чуть менее экзотичны, да и трудно переплюнуть такого авантюриста и эксцентрика, каким был дед Маевский. По мужской линии отец — из дворянского рода, его отец числился по паспорту

дворянином Минской губернии. В роду были и священники, сохранилось фото Отца Антония в рясе и с напузным крестом, это — прадед отца, настоятель крупного православного собора недалеко от Минска, собора, выстроенного два века назад и по версии сталинской пропаганды взорванного немцами, тогда как, скорее всего, храм уничтожен был войсками НКВД, и моему отцу повезло среди до сих пор сохранившихся развалин найти надгробный камень прадеда. В 48-ом, в разгар борьбы с космополитизмом, отцу помогло остаться в университетской аспирантуре его свидетельство о крещении, до того, естественно, тщательно припрятанное, и этот, оказавшийся неожиданно полезным документ, был единственным тогда доказательством, что Климонтович, подобно Милорадович, Пуришкевич или Собакевич, не еврейская фамилия.

Дед отца был директором гимназии в Ковно, отец же, мой дед, закончил лицей и Инженерную военную академию, воевал в Первую мировую, в Гражданскую оказался в армии Колчака. На каких путях он встретил мою бабушку, смолянку, во время войны сестру милосердия, в анналы не попало. Легенда доносит лишь такой эпизод: во время повторного захвата красными Екатеринбургская молодая пара оставалась в городе. Венчались в пустой церкви. Дед принес туда свою офицерскую форму в свертке, и надел ее непосредственно перед алтарем. Вышли из церкви они уже венчанной четой мирных обывателей. Им удалось добраться до Москвы, где дед и сидел тихо-смирно, переживая большевиков, в немалой должности инженера-путейца. Он был расстрелян в 38-ом по доносу человека, который признал в

нем белого офицера, что не было, как мы знаем, навесом. Если взглянуть на его снимки, то удивляет лишь, как его не взяли раньше — таким он глядит с них баринном. Откуда-то всплыл и еще один апокриф, будто бы развязку ускорил такой эпизод во время следствия: дед, которому дознаватель поставил табурет на ногу, швырнул в него чернильницей. Но, быть может, это уж начитанные женщины его семьи постфактум приписали ему этот бесборческий лютеровский жест.

Наконец, моя бабка по отцу — из известного дворянского рода Владыкиных, состоявших в родстве с Афанасьевыми («Сказки»), с Чихачевыми (хребет Чихачева на Тянь-Шане), с Голенищевыми-Кутузовыми (Бородино), с Лермонтовым по его женской линии («Бородино»), даже с Белинским («Письмо Гоголю») и зачем-то — с Чеховым (одна из Владыкиных венчалась с кем-то из Чеховых в церкви недалеко от Мелихова, и Антон Павлович присутствовал на церемонии). Дед моего отца Владыкин был предводителем пензенского дворянства и какое-то время вице-губернатором Томска, смещенный с поста якобы из-за недовольства его деятельностью самого Витте. Известно также, что он был мот и картежник. Его родной брат Александр писал прозу — его кавказские очерки и сегодня хорошо читаются, — и пьесы, и однажды я вычитал у Лакшина, что какая-то из премьер Островского в Малом была отодвинута, поскольку вместо нее решили дать драму «какого-то Владыкина». Таким образом, концы сошлись с концами, и я вожу пером на вполне легитимных генетических основаниях...

Но не забудем центральную сценку, по времени разыгрываемую ровно посередине нашего рассказа: в огромной квартире сталинского дома на набережной танцуют, неловко обнявшись, две разноцветные горошины, скатившиеся на мгновение в одну лунку по прихоти судьбы. Подо что мы танцевали тогда — внук двух расстрелянных при Сталине дворян и внучка самого Сталина? Думаю, это были Битлз, мы тогда их слушали с утра до вечера. Может быть, Let it be. Эта сорокопятка (и пусть нынешняя молодежь догадается сама, что бы это могло означать) тогда только-только появилась, и, честное слово, нас в те годы больше волновало сойдутся ли Битлзы вновь, нежели перипетии истории. Что ж, Let it be.

Глава II

ДЕТСКАЯ

Есть японская пьеса двухвековой давности о двойном самоубийстве молодых влюбленных. В свое время она произвела на меня впечатление. Местом действия в ней был Остров Небесных Сетей. Я фантазировал на тему, как можно было бы эту пьесу поставить. В сцене, предшествующей развязке, по полу фанзы шел бы по кругу ярко раскрашенный детский паровозик. Не помню, я ли это придумал или видел у кого-то на сцене, но, так или иначе, это хороший знак рока: сцепленные неумелыми руками ребенка игрушечные рельсы, бегущие по сплюсненному кругу вагончики, подгоняемые не

паром или электричеством, но — силой внутреннего завода точно такой пружинки, что раскачивает маятник часов и наши судьбы; и надо всем этим — смутные Небесные Сети, в которых и окажется улов; и предрешенность развязки. И в каком из вагончиков следует в этой игре — детство и отрочество, ведь в правилах ничего: ни о конечной станции, ни о станции отправления. Как говаривал современный классик, колыбель качается над бездной, смысл этой фразы прозрачен, но все равно этот зачин воспоминаний кажется мне сегодня несколько напыщенным, а ведь строка эта принадлежит перу писателя, которым я восторгался в первоначальную пору сочинительства и который так издевался над *poshlost*...

Итак, дело происходит в подмосковных Химках. Убогое жилище моей бабушки в двухэтажном коммунальном бараке, где, впрочем, были водопровод, канализация, электричество и центральное теплоснабжение, что по тем временам было почти шиком. Еду готовили, правда, на примусах, керосинках или — усовершенствованная модель — керогазах. Моя кровать и ложе бабушки отгорожены ширмой с какими-то буддийскими пагодами, — и происхождение ширмы для меня загадка, — которая по утрам сдвигалась, так что видна становилась вся сумрачная комната и материнская кровать. Мать лежит головой на подушке, отец же, в нижнем теплом белье сидит здесь же, спиной к стене. Худосочное декабрьское утро едва светит сквозь морозные стекла.

Они — поют.

Это воспоминание для меня тем более странно, что мать свою поющую я больше ни в каком случае не

помню. Отец же, в молодости склонный к вокальным упражнениям, к зрелым годам эти потуги бросил, ибо ни голоса, ни тем более слуха у него никогда не было абсолютно, каковые свойства он передал и мне.

Но мало того, что они голосят дуэтом. Я помню — что они пели: красноармейскую песню По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, автор которой, был, если не ошибаюсь, посажен благодарными властями еще в конце 20-х и отправлен на Беломорканал.

Если можете, объясните мне, что сей сон означает. Сын врага народа поздним хмурым зимним воскресным утром, каким его предки во многих поколениях собирались в церковь к дневной службе, крещеный, кстати, сидит в постели молодой своей жены, тоже дочери врага народа, и безголосо горланит большевистскую песню, славящую победу красноармейцев. Причем победу над армией, в которой сражался его отец, за что в конечном итоге и был расстрелян ЧК. Он голосит страшно жизнерадостно. Мать вторит ему потихоньку, и можно лишь догадываться, какие мучения и стыд испытывает при этом его теща. Слов песни он, конечно, не помнит, поэтому держит в руке своего рода псалтырь тех лет — сборник канонизированных большевистских песен. Открывалась книжка Интернационалом и Вихри враждебные веют над нами, и я помню даже размер книжечки — такого формата контрабандные евангелия присылали к нам из-за рубежа «миссионеры из ЦРУ» во времена позднего СССР, — в красной с золотыми разводами обложке.

Во всем этом еще и то загадочно, что этот подающий самые блестящие надежды молодой физик-

теоретик — совершенно аполитичен. Даже ни в каких комсомолах не состоит (впрочем, его туда и не взяли бы), а его жена — так прямо фрондерка, из кружка московской неблагонадежной молодежи, кое-кто из них и сам уже успели хлебнуть лагерей. Они сбились в единственной тогда московской школе-экстернате и переписывали в тетрадки запрещенных еще Когана и Гудзенко. Быть может, объяснение в том, что они, мои родители, еще недавно (напомню, идет 54-ый год) сироты и парии, молоды и наконец-то чувствуют себя более или менее счастливыми и обретшими надежду на будущее, а других песен у них попросту нет...

Бабушка после ареста мужа и нескольких безуспешных попыток узнать о его судьбе получила в прокуратуре стандартную справку «десять лет без права переписки». Все знали тогда, что это означает, хотя дед — и это подтверждено было позже Лубянкой — был жив до 39-ого. Она распродала шубы, забрала двоих дочерей (старший сын-комсомолец Юрий, тезка моего отца, уже учился в институте, был женат и остался в Москве — он погиб на фронте в первый год войны) и бежала к своей сестре Нюре в глухомань под Горьким — у той муж был лесничим. Она как бы само сослалась, чем спасла и себя от лагерей, и детей от детского дома.

Не буду останавливаться на этом, но здесь одна примечательная краска: младшая сестра приняла ее и долго не без риска для собственной семьи укрывала в глухом лесничестве. А ведь помимо прочего она могла бы и завидовать старшей, предреволюционная московская партия которой в Нижнем могла бы сойти за блестящую и которая, следуя за своим мужем, вряд ли час-

то о ней, Нюре, вспоминала. Тем более, что их брат, самый младший из троих, сделавшийся врачом и оказавшийся почему-то во Владикавказе, порвал с ними после ареста деда Маевского какие-либо отношения. И я хорошо помню, как бабушка и мать обсуждали однажды за завтраком (тогда в Москве еще можно было послать меня в магазин за двести граммами настоящей ветчины со слезой к завтраку), — отвечать ли ему, когда он прислал в середине 60-х, будучи уже больным стариком, своей старшей сестре покаянную весточку.

Во время войны бабушка оказалась в местечке — помню его имя по многочисленным разговорам — Ворсма, где преподавала немецкий язык в школе. Старшая дочь по имени Елочка, по разнарядке принимавшая участие в каких-то полевых работах, простудилась и вскоре умерла от открывшегося туберкулеза. Младшую, мою мать, бабушке удалось-таки сберечь, и уже в 46-м они вернулись в Москву, в которой никакого жилья у них теперь уже не было. Сначала они ютились в деревеньке Немчиновка под Химками, бабушка служила переводчицей у пленных немцев, которые работали в каком-то местном научном дерево обрабатывающем институте, и ей дали эту самую комнату, в которой и поет сейчас мой отец свою красноармейскую песню.

Его судьба была чуть более ласковой. Его мать вскоре после гибели отца умерла, — ему было 14-ть и он был младшим из трех братьев. Его взяла под опеку бездетная тетка Ольга, сестра его матери, бывшая замужем за тоже бездетным вдовцом по фамилии Брюль, из русских немцев, и тоже инженером путейцем, знававшим, кажется, расстрелянного коллегу Климонтови-

ча. Он был человеком по тому времени обеспеченным: имел в центре, в Большом Знаменском переулке — позже улица Грицевец — отдельную квартиру в одном из первых в Москве кооперативов РАНИТ (работники науки и техники, так это следует понимать). Как ни странно, я помню его (тетя Оля тогда уже умерла, но отец оставался прописанным на этой самой Грицевец и жил со стариком Брюлем, от чего, кажется, ни тот, ни другой особого удовольствия не получали). Это была довольно нелепая квартирка — в одну огромную (или она казалась мне таковой) комнату с тремя большими окнами по одной стене, перегородженную так, что получилась еще одна проходная темная комнатуха, в которой и обретался отец. Опекуна Брюля я помню в основной, светлой, комнате, всегда зашторенной, сидящим в кресле за показавшимся мне огромным письменным, уставленным предметами неясного назначения, столом. Здесь был и его кабинет, и спальня, причем кровать напоминала походную, тогда как прочее кабинетное убранство отнюдь не было аскетичным. Позже, после его смерти, когда мы недолго жили в этой квартире, и я посещал второй класс школы имени Фрунзе, что была в здании нынешнего Гнесинского училища, я имел возможность перебирать все эти вещицы: серебряный портсигар с гравировкой, пресс-папье из яшмы, письменный набор на малахитовой доске, настольную лампу на бронзовой ноге, костяной нож для разрезания бумаг с резьбой на ручке, темные желтоватые фотографии белых дам в овальных рамках, что расставлены были на отдельном, похожим на чайный, столике, еще множество пустяков и случайных вещиц, и все это и ос-

талось для меня навсегда знаками собственно мужского мира, мира не мундира или пота, но несколько меланхолического одинокого и праздного размышления в клубах дорогого табака, мире, в котором женщины присутствуют лишь в виде окутанных ностальгической дымкой нежных и смутных образов...

Много позже, когда и мой отец обзавелся собственным кабинетом, который тоже служил ему одновременно и спальней, эта комната многими приметами воспроизводила кабинет его приемного отца. Да и в моем кабинете присутствуют непроизвольно перенятые те же черты.

Забавно, что когда много лет спустя я искал квартиру в Центре, то наткнулась на объявление о продаже квартиры в Большом Знаменском, которому тогда уж вернули природное наименование. Оказалась, что эта квартирка, увы, крайне запущенная и разрушенная, некогда принадлежавшая советскому драматургу Гладкову, автору Гусарской баллады, находилась в том самом дворе рядом с Генштабом. Я упомянул здесь об этом к слову, лишь из привязанности к всяческим неожиданным сближениям и повторам узоров судьбы, к орнаменту рока, вглядываясь в который только и возможно оценить правильность предчувствий и правоту некогда сделанных шагов — прямо, в сторону или вспять.

Поскольку детству посвящено изрядное количество страниц в других моих книгах, здесь приведу лишь краткий ряд детских впечатлений, и все они оказываются связанными с ушибами, утратами и печалью. Вот мать и бабушка сидят сереньким утром за столом в химкинской нашей комнате и, быть может, скорбно об-

суждают проделки коммунальных соседей. Мне три года. Неожиданно я хватаю со стола нож и бросаюсь наутек. Через секунду падаю навзничь, и лезвие острым концом впивается мне в бровь — прямо над глазом, и с этим шрамом меня похоронят. Мое личико залито кровью, и можно себе представить ужас женщин. Зачем я это сделал: из желания обратить на себя внимание? Из склонности к побегу?.. Отец берет меня на велосипедную прогулку. Мы едем через какой-то поселок, и на нас набрасывается стая собак, норовя укусить за шину. Я сижу на раме, и мне страшно. По возвращении оказывается, что потеряна моя новенькая сандалетка с правой — я помню, именно с правой — ноги. И нет предела огорчению бабушки, а мне жалко эту самую сандалетку до сих пор... Те же три года, и мать собирается куда-то, надевает перчатки. Мне так грустно, что она уходит, я обнимаю ее колени, и она дает мне — пощечину. Боль и унижение я чувствую до сих пор... Мне года четыре, и отец берет меня с собой — в парикмахерскую. Тогда у мужчин было признаком полноты жизни и мужского довольства бриться в цирюльне, и я помню намыленного отца и — отчетливо — усатый портрет Сталина в витрине.

— Я вас порезала? — спрашивает хорошенькая, как я теперь понимаю, парикмахерша, и бритва замирает в ее руке.

— Нет-нет, — улыбается отец, и по его щеке тихой струйкой сбегает кровь. Мужчины всегда улыбаются, если им больно, говорит она, трепеща, и отчего я и сегодня дословно помню эту парикмахершину фразу... Мне лет пять, апрель, близок мой день рождения и,

чисто вымытый и приодетый, я иду из бани по химкинской улице между матерью и бабушкой. В какой-то момент, когда они зазевались, я вдруг вырываюсь, бегу к обочине и прыгаю через канаву, полную грязной талой воды. И оказываюсь в воде с головой. Я помню свой стыд, когда меня, мокрого и грязного, вели по улице, по двору — домой, не отстаивать же опять очередь в баню, — отмывать в тазу. Кстати, с тех пор я пытаюсь всегда, перед тем как прыгнуть, рассчитать силы... И еще одно воспоминание: счастливое лето в деревне, когда по окончании первого класса мне купили собственный велосипед. Что я на нем вытворял — страшно вспомнить, но это к слову. Отец наезжал из города. Жилось очень весело. Я играл в «пьяницу» с соседским мальчиком — тоже из города, вырезал трубки из репейника, плевался бузиной... Мне уже восемь, отец со злобою запрещает мне заператься в туалете; мне не ясен смысл табу, тем более, что мать вступается за меня; позже я сообразил, конечно, что таким бесхитростным способом он пытался отвлечь меня от радостей мастурбации; если бы я сообразил в чем дело тогда же, получилось бы, что отец меня и подтолкнул к суходрочке — такой запретный плод и вдвойне сладок... Те же восемь, семья наняла дачу в Сходне. Отец, мать, какие-то знакомые отца компанией идут в лес за грибами. Взрослые оживленно говорят, мне скучно, я путаюсь у отца под ногами. Он все отталкивает меня, я все лезу, и вдруг на него находит приступ ярости: эта склонность вдруг приходит в неистовство по сущим пустякам и швырять предметы сохранилась у него до тех пор, пока он серьезно ни заболел в семьдесят с лишним лет. И вот отец запускает в меня

огромной корзиной, утыканной по бокам веером ножей, а я с воем обиды и унижения несусь в кусты, где и прячусь, мстительно срывая взрослым прогулку и неинтересные разговоры, пока меня не находит один из незнакомых мне спутников. Так, вдруг вернувшись, тема ножа замыкает этот затянувшийся абзац.

И еще кой-какие мелочи: шалаш из свежих обрубленных тополиных ветвей в саду вокруг химкинского барака, бывшим, конечно, элитарным, если сравнивать его с коммунальным крошечным жильем заводского рабочего люда (в этот шалаш мы забирались с соседской девочкой, чтобы щупать друг друга); анютины глазки в полисаднике; несколько неуклюжих попыток найти мне няньку, когда впервые заболела бабушка, неизменно заканчивавшихся конфузом; чтение бабушкой наизусть Онегина и по немецкой книге вслух Гауфа, которого она тут же переводила с листа; ее разрешения отправиться через улицу к такому же пятилетнему приятелю, с которым нас катала в санках по тому двору запряженная рыжая боксериха, и мои честные возвращения домой, если появлялся в нашем окне сигнальный красный лист; нечастые появления в Химках отца и еще более редкие мои вояжи к нему на Грицевец, где на кухне висел поражавший мое воображение немецкий гобелен с гномами в красных колпаках и где по двору расхаживал огромный датский дог, на которого меня изредка сажали верхом. С гобеленом связана нехитрая история: краска на гномовых колпаках полиняла, я решил подновить цвет с помощью акварели; вскоре по всем семи мордашкам потекли серо-буро-малиновые струйки, я был вздут, конечно, но тема семи гномов и

связанного с ними наказания в этой книге еще найдет продолжение... Общий же фон: хроническая семейная непрактичность и общая скудость жизни, склочные химкинские соседи, и в памяти выжила даже их фамилия, лучше которой, подлинной, все равно было б не придумать, — Свищевы; еженедельные посещения общественных бань, от которых у меня навсегда сохранилась брезгливость к любому скоплению обнаженных людей; материнские жалобы и скандалы с отцом в виду его, скажем так, вольнолюбия, и общий фон некоторой оставленности, частые хвори и — единственное утешение — бабушкина любовь. Все описанное определило мои отношения с семьей, и после того, как бабушка перенесла второй инсульт — уже в московской квартире, с трудом полученной отцом от университета, — я уж никогда ни с кем не был в семье близок...

Быть может поэтому, я не совсем понимаю людей, которые предаются воспоминаниям о счастливом и безоблачном детстве. Мое детство было отнюдь не сиротским и, в общем-то, скорее приличным. Но доминирующим в воспоминаниях о нем остается все-таки не радость открытия мира, но чувство перед этим миром беспомощности. Ведь для любого ребенка неизбежны плутания в темном лесу непонятных отношений взрослых, если те не заботятся создать вокруг своего чада оранжерейный огороженный мир. Но я, как и абсолютное большинство интеллигентских детей моего поколения, провел детство в коммуналках, и это наложило несомненный отпечаток на наш душевный строй. Эти ощущения тем более неизгладимы — здесь я возвращаюсь к теме генетики, — что мои предки во многих

поколениях росли в детских, а не за ширмой, и, соответственно, не могли мне передать по наследству коммунальные навыки и умение оставаться одному и самому посреди всеобщей насильственной соборности. Отчасти — помимо индивидуальных особенностей — именно в этом корень нашей общей неврастении, которой пронизаны и вдохновлены писания моих литературных сверстников и которая напитала всю литературную жизнь моего поколения...

Ну да Бог с ними, с болезнями и отклонениями, к тому ж наверняка мне еще придется к этой теме вернуться. Здесь лишь важно предупредить: несмотря ни на что, нам удалось совершить кое-что созидательное, и когда я говорю нам, я имею ввиду длинный ряд имен моих литературных друзей, с которыми в разное время мы хлебали общую русскую кашу. И — безо всякого лукавства — я горжусь многими моими товарищами по неверному ремеслу русского литераторства. Но сейчас мне придется завершить тему детства.

Я хожу по своему городу и дивлюсь двум вещам: как мне удалось в нем выжить, и как я мог хоть неделю без него прожить во время своих отлучек. Здесь кажущееся противоречие, как при проживании своей судьбы вообще: умереть хочется не чаще, чем хочется быть. Я помню каждый шаг, что я некогда сделал по этим улицам и бульварам. Я знаю и помню, чем кормили в том доме, а чем в том, и где какая жила девушка, и это не пресловутый вкус прустовского пирожного и отнюдь не поиск утраченного времени — мне не нужно напрягать память. Достаточно вдохнуть ноздрями. И мое детство в конечном итоге представляется мне лишь неизбежным

авансом, который взяли с меня за возможность самостоятельно существовать, своего рода принудительной разминкой перед тем, что носит весьма приблизительное наименование — жить.

Глава III

И ПИТАЕТСЯ НЕ ЦАМИ

Но вернемся в тот день, когда горбоносая усатая учительница географии, наша классная руководительница, объявила моему отцу, что больше терпеть меня в школе не намерена, кончилось мое невесть какое радостное детство, и начались счастливые отрочество, юность и университеты. Но — не она ли, Алевтина, еще вчера под предлогом производства стенной газеты отзывала меня с урока, чтобы в пустой учительской взъерошить мне волосы и поведать, как несправедливы мужчины. Но у меня уж торчали над углами губ пуки темной поросли, щемило соски; тридцатилетняя старая Алевтина не волновала, но однажды застала меня, созревающего, на перемене, в закоулке школьной лестницы, за вполне географическим занятием, а именно — за проникновением рукою под юбку и меж толстых, влажных от произведенного там переполоха, ляжек моей одноклассницы, тоже профессорской дочки, соседки по дому Ольги Агафоновой.

Мне было тринадцать. Географию, кроме прониинской, я не учил, наука не дворянская, контурные карты разрисовывал спустя рукава, да и то лишь потому,

должно быть, что некоторые выпуклые очертания неясно волновали меня. Гонял в футбол. Читал под партой Золотого осла. Отец считал, что у меня обязаны быть способности к математике. И не он один: директор школы, по совместительству преподававший нам алгебру с геометрией, любил во время контрольной стать у меня над плечом и, стуча костяшкой согнутого указательного пальца по моему темени, молвить с искренним сожалением: хорошая голова, да не тому человеку досталась. Он же изредка отправлял меня на модные тогда школьные олимпиады. Помнится, на одной из них я довольно быстро отгадал какую-то геометрическую задачку об углах падения и отражения, применив прием мысленного продления бильярдного стола, за что получил почетную грамоту. И это вызвало взрыв неподдельного изумления, — люди, я убеждался в этом потом так часто, склонны упрощать другие, смежные им, организмы, но зачастую безосновательно и непомерно усложнять собственные. Я выступал также за школьную команду по шахматам, созданную все тем же энтузиастичным директором, — за последней доской, заработав пятый разряд, вскоре упраздненный, что показалось мне не совсем справедливым — я уже острил в том духе, что пострадал от советской власти. Все эти вполне случайные достижения и вводили в заблуждение старших, и — вместо заведения для трудновоспитуемых, куда после упомянутой сцены на лестнице не считала чрезмерным определить меня географичка — я оказался, пройдя кое-какое собеседование, в специальной математической школе №2.

Школа действительно была математической. Это всякий, знающий советскую действительность, сочтет за подвох, — и справедливо. Звалась она к тому же экспериментальной, эвфемизм для начальства, нельзя же было сказать для званных, тем более, для избранных, поскольку при большевиках не могло быть детей, одаренных по-разному, и имелось ввиду, наверное, что в светлом будущем и пролетарским детям, не только профессорским — и дворянским, ежели выжили, — будут преподавать дифференциальное исчисление уже в восьмом классе. Впрочем, из этого лица не вышло потом ни министра иностранных дел, ни национального поэта, лишь один депутат московской Думы, да и тот — заведует культурой, предметом призрачным, как неравенство больше бесконечности, и один банкир, этот, впрочем, весьма изрядный, с чьей руки я даже одно время подкармливался, получая стипендию, учрежденную его банком, — впрочем, об этом он знать не мог.

Впрочем, не вычисление дифференциалов волновало меня тогда, и лишь спустя годы мой отец смирится, что оно и впредь меня оставляло равнодушным, а звук трубы брать интеграл и вовсе ввергал в оторопь, но — будоражили диковинные уроки словесности, ничем не похожие на те, что получал я прежде, следом за географией, по советскому учебнику, которым я тоже пренебрегал, так что мне не пришлось в своей жизни прочитать ни горькую Мать, ни подслеповатую Сталь, ни гладкий Цемент, теперь уж, видно, никогда не придется, а в Повести о настоящем человеке меня впечатлило лишь, что безногий Мересьев, ползая по снежному лесу, съел живого ежа. За это клеветническое наблюдение

мою мать вызывали и учили воспитывать сына, — наша учительница начальной школы, дело было в третьем классе, так внимательно канон не читала.

В 8-в классе школы №2 вёл у нас словесность молодой человек по имени Анатолий Александрович Якобсон. То, что он был очень молод тогда, ему не было тридцати, мне, конечно, было невнятно по разнице наших лет, но его поведение во время урока ужасало и восхищало. Скажем, он был способен запустить в нас ластиком, ежели тот, пройдя мимо цели и отскочив от доски, падал перед его носом на учительский стол. Причем делал он это без педагогической истерики, но вполне осознанно и азартно, целясь в лоб отправителю. Мог пожаловаться классу, в котором были и девочки-ханжи, офицерского воспитания, что штаны сползают. Но прежде другого, странна была программа — тем, что, собственно, никакой программы не было.

Вообразите, в конце 60-х в 8-ой класс в качестве учителя он притаскивал тексты Белля, «Конармию» Бабеля — и декламировал вслух ее груди шевелились, как животное в мешке, — искандеровского козлотура, «Случай на станции Кречетовка», что-то еще ново-мирское, любимого мною тогда Олешу терпеть не мог, третировал по утрам он поет в клозете, и пойдите покушайте синих груш, и посторонний дядя ехал бить моего папу, как литературную самодеятельность, но велел читать «Устрицы» Чехова и 66-ой сонет. Сам читал вслух «Кошку под дождем» (что подвигло меня позже на долгое вдохновенное хемингуэйничанье, но эти опыты навсегда, кажется, осели в анналах НКВД; здесь сноска: справедливости ради скажу, что на волне демократии 91-ого года

ОНИ мне предлагали прийти и забрать архив, но Я предложил ИМ привезти и положить что взяли — где взяли, на чем переговоры иссякли), вопрошал желающих выговориться по поводу прочитанного, а затем сам произносил бурную порывистую речь — о подтексте, тексте (о контексте тогда еще не говорили), Джойсе, Фицджеральде, Ахматовой, Серебряном веке и Блоке, Блоке, Блоке... Он мог поделиться с нами, четырнадцати лет от роду, что Маршак детский поэт — классик, ты с ума сошла коза, бьешь десяткою туза, — а что Маршак-переводчик — полное говно, и что раннего Пастернака я люблю невозможно, но позднего еще больше, поверх невозможного (мне, кстати, это казалось тогда лишь фигурой речи, а нынче я думаю, что к смерти Пастернак и вправду нашел больше, чем потерял). Соответственно, он вопрошал нас, что мы думаем, коли сравниваем строки:

Но как тебя покинуть, милый друг...

и:

Измучен всем, не стал бы жить и дня,

Да другу будет плохо без меня, —

и так стенал и рычал, что и без подсказок было ясно, что чему следует предпочесть.

Он плевался и обзывался, утверждая, что друг всех советских мастурбирующих пионеров Есенин бывал пошляк (скольким ты садила на колени, а теперь сидишь ВОТ у меня), но тут же противоречил сам себе, предваряя, что строки, которые он сейчас прочтет, не хуже знаменитых русских ямбов, не слабее все перепуталось, и некому сказать, и даже, что, конечно, невероятно, мой дядя самых честных правил, и на уровне во-

шла ты резкая, как «нате», и даже, может быть, и ваши кудри золотисты на пышных склонах белых плеч, и не хуже и звездный ход я примечаю, и слышу, как растет трава:

Напылили кругом, НАКОПЫТИЛИ,
И умчались под дьявольский свист.

А теперь ВОТ в лесной обители
Даже слышно, как падает лист,—

и здесь ВОТ считалось к месту. Блок же сыпался и трусился без перерывов, как и Ахматова, как за возом бегущий дождь соломин, как бесконечные вагоны, идущие дрожащей линией; Цветаева шла не таким сортом, но все-таки:

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,

И все равно, и все едино,

Но если у дороги куст

Встает, особенно рябина...

И, кажется, не напиши Марина Ивановна этого обрыва, захлеба, не было б ее вовсе в яacobсоновском ассортименте.

Впрочем, меня отвадил от амазонистой Цветаевой не он, но собственная бабушка. Однажды она подозрительно спросила: что это ты все повторяешь «Цветаева, Цветаева», не та ли это самая? Я остолбенел и зажмурился. «Как же,— сказала бабушка,— однажды я была у нее в Борисо-Глебском. С Вахтанговым, кажется, но уже после переворота. Она все обнимала свою подружку-заморыша, долго орала дурные стихи дурным голосом, а потом повела меня наверх, в детскую. Дети были такие неухоженные...», — и бабушку брезгливо передернуло: «Неужели теперь она прославилась?».

Якобсон задавал нам сочинения на тему из разрядки РОНО (сами отгадайте, раскрасьте и найдите охотника) «Моя любимая книга», и на сочинении вашего покорного слуги, посвященному Эдгару По, начертал будет писать,— так мои родители с ним и подружились и дружили и я и они вплоть до его отъезда. Окрыленный, я накатал ему еще пару критических опусов: о «Мусорном ветре» Платонова и о «Смерти пионерки» Багрицкого. Первое он заставил меня переписать, не исправить, а перлюстрировать, и потащил тетрадку, гордясь ученичком, скульптору Федоту Сучкову, автору предисловия первого оттепельного платоновского избранного, — с ним, с Сучковым, мне еще предстояло познакомиться. А за второе дал такую нахлобучку, что я засек урок на носу на всю жизнь.

Дело в том, что слово пионерка было и в нашей школе, и в моей среде — однозначно ругательным. А коли так, то и поэма была — дерьмо, и над ней следовало потешаться (кстати, ирония и стёб были непременны тогда, хоть второе слово и возникло позже, обязательны, как всякий нигилизм созревания и поллюций, и я с некоторым изумлением смотрю на нынешних тридцати-сорока летних мужчин, с упоением предающихся этим приятным, как почитать газету в сортире и выпить с утра коньяка в ванне, занятиям, которым мы отдали должное в свое время, будучи вдвое моложе, но это в скобках). И дерьмо был автор — если следовать логике тогдашнего моего сочинения, — хоть втайне я любил:

И звезды обрызгали кучу наживы,
Коньяк, чулки и презервативы... —

думаю, любил за последнее, не совсем школьное словцо, но и за романтический напор, конечно.

Итак, я получил бурный нагоняй. Мне было — раз и навсегда — сказано, что поэзия вне идеологична, как дождь: или идет, или нет. И мне до сих пор стыдно, что в четырнадцать, когда Александр Сергеевич уж сокрушал старика-Державина, я не понимал таких простых вещей, стремясь бежать впереди паровоза по пути либеральных ниспровержений. Впрочем, если это меня реабилитирует, сознаюсь, что и до сих пор, хандря, нет-нет да поймаю себя на том, что бормочу под нос:

Пусть звучат постылые, пошлые слова
Не погибла молодость, молодость жива!
Нас водила молодость в сабельный поход,
Нас бросала молодость на крондштадский лед, —
(и здесь не обошлось без Гумилева, конечно, — не у меня, у автора)...

Но главного о нем, о Тоше, ни я, ни мои соученики тогда, конечно, не знали. Эта его тайная для школы жизнь была, однако, продолжением явной, литературной и педагогической, а именно — он был, что потом назвалось, правозащитником, причем из первачей. Начал он с того, что публично выступил в защиту Юлия Даниэля, своего друга и коллеги по так называемому Комитету переводчиков, едва того арестовали. Закончил же редактированием подпольной «Хроники текущих событий» и вынужденной эмиграцией.

Здесь важен, как говорят записные мемуаристы, запах эпохи. Точнее, представление о том, как жила узкая прослойка столичной фрондирующей интеллигенции конца 60-х: диссиденты и сочувствующие им, тогда

же получившие кличку диссида. Вот хоть легкий пример, чтобы вы вошли в атмосферу тех лет и тех буден — определенного круга. Когда девятилетнему сыну Анатолия Якобсона Саше, пребывавшему в пионерском лагере, отец написал, что скоро он заберет его и они поедут на Урал к другу Тоши диссиденту Бабицкому, отбывавшему там ссылку, ребенок написал в ответном письме: «ура, ура, ссылка лучше, чем лагерь». Или вот еще: у моего отца, человека вообще-то довольно замкнутого и ничего никогда не знавшего о мужской дружбе, был-таки многолетний товарищ, его коллега-физик со времен еще университетской аспирантуры по фамилии Силин. В отличие от отца, он был деятелен, партиен, ездил в Америку на стажировку, откуда привез отцу в подарок фотоальбом с многими изможденными ню, сильно меня волновавшими, и с прекрасными изображениями нобелевского уже Пастернака на переделкинской даче (мрачный поэт в саду, мрачный поэт саморучно застилает свою солдатскую койку в кабинете и т. д.), альбом, кстати, по тем временам очень крамольный. Дружили семьями, вместе отдыхали на юге, мужчины играли в шахматы, моя мать и жена Силина Роза, простонародная толстушка, недолюбливая друг друга, толковали о детях и варенье. И вот в один прекрасный день выяснилось, что этот самый Силин заделался парторгом в своем физическом институте, — чин, кстати, весьма высокий, почти директорский. Он был зазван в гости, и моя мать закатила ему грандиозный скандал с поминанием 37-ого и предъявлением преступлений большевиков, приводя в пример судьбы обоих моих дедов. Отец, не только что не партийный, но всегда отказывавшийся от

каких-либо должностей, мрачно молчал. Силин был изгнан из дома навсегда.

Изгнан из школы был и Якобсон, когда я перешел в десятый, по схожим причинам, — он ведь тоже в некотором смысле подвизался парторгом. Ибо на конец 60-х и пришелся расцвет его правозащитной деятельности. Мне, пятнадцатилетнему, уже были вняты такие истины, внушенные им: после обыска надо проветривать помещение (так Якобсон напутствовал кагебешников, когда они, наконец, выметались с мешками награбленного из его квартиры, мол, пора, а то у вас ноги пахнут); когда даешь кому-то почитать что-нибудь собственное рукописное — срежай верх первой страницы с именем; осторожничай в телефонных разговорах; не читай самиздат в транспорте; на допросе как можно чаще говори не помню и не знаю, коли нет сил вообще молчать, и никогда не называй ни одного имени. Ну и так далее. Но самым главным уроком было то, что нет пуще злодеев, чем коммунисты, ничего более уродливого, чем советская власть, и никого презреннее и неприкасаемое, чем сотрудники КГБ и их пособники-стукачи.

Этот нехитрый ригоризм я исповедовал со всей страстью ранней зеленой юности. В этой диссидентской интеллигентской религии, в храме которой я смолodu оказался, был кодекс чести и жертвенности, хорошо был прописан дьявол, но не было онтологии, а значит — увы — не было Бога, как, впрочем, и в любом пылающем и парящем над повседневной живой жизнью революционерстве. Если говорить на политическом языке, то в этой, духовно пестрой, среде доминировали социал-демократические идеалы, то бишь коммунисти-

ческий ревизионизм, в котором так рьяно обвинял тогдашнюю КПСС председатель Мао, будто предвидевший неминуемый приход Горбачева.

У нас в доме не переводился литературный самиздат, вообще говоря, относительно невинный: рукописные поздние стихи Волошина, «Воронежские тетради», «Реквием», «Все течет», «Котлован», чуть позже потек тамиздат: русскоязычный Набоков, Ходасевич, «Железная женщина». Бывали и забавные раритеты: скажем, повесть Кузнецова «Бабий яр», опубликованную в «Юности», я читал по рукописному экземпляру, подаренному автором — Солженицыну, причем в ней были аккуратнейшим образом разноцветными карандашами помечены цензурные купюры: всякий цвет на всякий запрет — красным «про евреев», синим — «о партии» и т. п. (и сейчас зачем-то помню, что название одной из главок «Грабить хорошо, но надо уметь» цензурой было исправлено на «Воровать надо уметь», — глупость, конечно, помнить подобный вздор). Но все чаще появлялись и действительно опасные по тем временам вещи, которые шли чуть не по разряду революционных прокламаций: «Меморандум» Сахарова, «В круге первом» и «Письмо вождям», правозащитные статьи Чалидзе, первая книга Марченко и — самый смертный криминал — оттиски «Хроники», которую зачитывали по глушащейся «Свободе», причем Якобсон, конечно же, ничего о своем авторстве не говорил; но между строк это маячило: в подпитии он излагал за столом то, что в следующем номере только должно было появиться. Моя мать при молчаливом попустительстве аполитичного отца регулярно платила дань — на семьи

заключенных. Я изредка перестукивал на машинке по поручению Тоши те или иные текстике, что, кстати, было вопиющей неосторожностью: на обысках машинки забирали именно с целью идентификации шрифта. Короче, семейство наше было — из сочувствующих движению, несколько даже и рисковало (именно тогда отца перестали выпускать за границу на конференции, и мариновали лет десять, кажется, телефон — слушали, даже университетскую научную корреспонденцию утаскивали в партком и вскрывали). Замечу, что в естественнонаучной среде это была в той или иной мере распространенная форма фрондерства, такая позиция пассивного сопротивления, считалось, приличествовала всякому порядочному человеку. Что, впрочем, не мешало ни единому ученому и неученому — кроме физика Михаила Левина и лирика Ахмадулиной — ни единым словом протеста не вступиться за Сахарова, когда тот был сослан под надзор в Горький. Но я забегаю вперед, на дворе — лишь шестидесятые.

Якобсон появлялся у нас раз в неделю-две. К его приходу неизменно бывала приготовлена бутылка коньяка, которую он — при слабом содействии отца — за вечер и высасывал. Развлекал он семейство, конечно, сплетнями о том, как тот или иной вел себя на допросе, у кого был обыск, и что он сам сказал топтуну, когда тот неосторожно наступил ему на пятку, — и все это я с жадностью впитывал. Свойство памяти — помнить пустяки. Почему-то всплыло сейчас, как Тоша с возмущением рассказывал: топтун, оказавшийся с Тошей в лифте, сначала растерялся, а потом нагло обронил: да что же вы всегда такой грязный. «Ложь, — возмущался Тоша, — я

каждое утро моюсь, как утка». Именно это как утка я почему-то и запомнил...

Здесь требуется еще одно пояснение. Диссидентская жизнь тех лет напоминала опасный и веселый карнавал. Скажем, когда становилось известно, что у кого-то из этого круга идет обыск, то все заединщики мигом подхватывались и слетались на квартиру терпящего бедствие, всячески мешаясь под ногами обыскивающих и над ними изгаляясь. При том, что в столице совершались время от времени посадки, — и на нешуточные сроки, — КГБ бояться было не принято. В кодекс поведения входили своеобразный шик презрения к властям и всяческая бравада. Конечно, все это было в вопиющем контрасте с истинно паническим ужасом перед КГБ законопослушных обывателей: один вызов на Лубянку в качестве свидетеля представлялся обычному советскому служащему вселенской катастрофой. Так что, повторюсь, речь идет о горстке, так сказать, диссидентов-профессионалов и их окружении: таких, может быть, было тысячи три-четыре на круг в многомиллионных Москве и Ленинграде, но они-то и делали погоду в комментариях западных радиостанций о положении дел в России. Бытовая атмосфера в этом кругу тоже была как бы вечно праздничная: толком, конечно, никто из тех, кого еще не выгнали с работы, все равно не работал, много пили, царил промискуитет: моральный облик диссидентов тех лет всюду муссировался КГБ, а сама атмосфера замечательно воспроизведена в романе Владимира Кормера «Наследство» и еще в нескольких, так сказать, «бесах» — скажем, в романе о Даниэле какой-то его пассии «К вольной воле заповедные пути»

(кстати, роман, за который самого Даниэля посадили, «Говорит Москва», начинается со сцены дачного группового секса интеллигентской компании тех лет, и как здесь не вспомнить социалистические фаланстеры, ирония над которыми некогда стоила репутации порядочного человека замечательному Лескову, безоговорочного записанного либералами в реакционеры). Тоша принадлежал к звездам первой величины этого круга — сразу следом за Сахаровым, Щеранским и Буковским, наравне с Турчиным, Орловым, Ларисой Богораз, Татьяной Великановой (я привожу лишь имена тех, кто в те годы, о которых речь, не сидел). Помню однажды он ввалился к нам уже вполпьяна и возбужденно стал рассказывать, что поднимается уже и учащаяся молодежь, что вчера на концерте во Дворце съездов какая-то девчонка-десятиклассница разбросала с балкона антисоветские листовки,— и много позже я сообразил, что это была никто иная как Лера Новодворская.

Но отнюдь не только диссидентскими байками пробаивался Тоша, выпивая коньяк в нашем доме. Он декламировал Давида Самойлова, с которым водил близкую и доверительную дружбу, и неопубликованный тогда стих «Пестель, Поэт и Анна» — кстати, именно на диссидентскую тему, о соотношении мрачного идеологизма и жаркой живой жизни,— я услышал впервые из его уст; он шпарил наизусть всю Марию Петровых, восхищенно цитировал переводы Гелескула из Лорки (и ветер серые руки сомкнул на девичьем стане), любил вспоминать Горбаневскую, посаженную в психушку за демонстрацию на Красной площади в год Чехословакии:

Шарманка пой, шарманка вой,
Шарманка — в пропасть головой,
Ах, в заколоченному саду
Поет шарманка раз в году...

Однажды он принес только что вышедший том Всемирной библиотеки с «Житием» протопопы Аввакума и принялся читать вслух; дойдя до знаменитого разговора протопопы с матушкой по пешему сибирскому пути на поселение, он стал хлюпать носом — бутылка была уж пуста, — а потом не выдержал и разрыдался.

Я обожал его. Все его неврастенические артистизмы числил по разряду очаровательных чудачеств гения. Еще бы, он знал всё на свете из того, что стоило знать, — и поощрял мои литературные опыты; он был смел, а на стене в его квартире в беспросветном Зюзино красовалась фотография Анны Андреевны, снятой на пленэре, с ее автографом наискось Тоше Яковсону — под вязами (не знаю, отчего под вязами, наверное, то был намек, понятный только Тоше, но факт оставался фактом: помимо четырех ленинградских ахматовских мальчиков были мальчики и московские, и Тоша состоял некогда одним из них). Помню, я был невероятно польщен, когда он поднес мне томик Верлена со своими переводами и с надписью Коле Климонтовичу от его читателя, — эта книжечка и сейчас у меня на полке. Как-то мои родители подарили ему в день рождения байковую пижаму. Боже, как он дурачился и кокетничал, тут же и примерив ее, заявил, что такого выходного костюма у него отродясь не было, и что в этой-то пижаме-то он и отправится прямо от нас на вечеринку к Арсению Тарковскому, куда в этот вечер был зван. И отправился, за-

вернув свой наряд, в котором пришел, в газету,— от этих штук сердце мое обмирало, как у барышни.

Надо сказать, что и Валентин Турчин, напрямую связанный с Сахаровым, и Юрий Айхенвальд,— в доме которого в свою очередь я видел и Якира, и Есенина-Вольпина, и Асаркана, и Наума Коржавина (лучше один микро Мандельштам, чем много макро Манделей, не беззлобно острил Тоша, а я так почитаю его талант,— Мандель была настоящая фамилия Наума), пел нелицеприятные для властей песенки опальный Юлий Ким,— тоже бывали у нас, но по неясным мне тогда причинам никогда не одновременно с Тошей. Сейчас я понимаю, что диссиденты первого ряда чувствовали себя в те годы на общественной сцене — примами, а попробуйте-ка направить объектив камеры одновременно на двух артисток-звезд, сидящих рядом хоть в курилке — одна уж непременно тут же спорхнет и прыснет в сторону.

Никогда Тоша не приводил к нам и свою жену Майю. Между тем, это была легендарная женщина, арестованная со школьной скамьи и сидевшая в знаменитой взбунтовавшейся женской зоне, раздавленной танками, о чем написано у Гроссмана во «Все течет»; Тоша, ее одноклассник, дал обет дождаться ее освобождения и дождался, так что брак этот был в некотором смысле революционерский,— они разошлись сразу же, как ступили на землю обетованную. Но все-таки однажды по случаю, кажется, одного из родительских дней рождений, он пришел с Майей. Конечно же, за столом, как обычно, он премьерничал, она поджимала до поры губы, но не выдержала и одернула его: помолчи же, Тоша, дай другим слово сказать. Он обиженно поперх-

нулся, взвился было, но за общим столом было не место для семейных сцен, и, ссутулившись, отправился на балкон, где стал нервно прикуривать одну сигарету за другой. И для меня стало откровением, что есть на свете хоть один-единственный человек, для которого Тоша не был кумиром, но лишь собеседником на равных, хоть я и знал уж наполеоновскую сентенцию, что для камердинера — нет великого человека.

Года через три последовал и еще один толчок, который несколько охладил мою к нему любовь. В один прекрасный день я с гордостью сообщил ему, что исключен из университета. В каком-то смысле это был результат его же выучки: я вел себя на его манер не просто независимо — вызывающе, толкался по общежитиям у иностранных стажеров, среди которых, — я тогда в это не смог бы поверить, любой иностранец был для нас единомышленник в борьбе против коммунизма за светлый западный путь, — было немало стукачей, и произносил свободолобивые речи; я подбивал сокурсников отправить поздравительную телеграмму еще не высланному тогда Солженицыну, а на семинарах по марксистской философии запузыривал какие-то немислимые доклады об избирательности революционной морали, противоположной христианской, приводя литературные примеры — хоть из Лавренева. Короче, я мальчишествовал — на его же манер. Но Учитель отнюдь не восхитился, даже не посочувствовал мне, но обронил холодное выгнали, ну и дурак. Более всего обидно было, что, увы, это являлось беспримесной правдой, и никакие ссылки на происки КГБ — кстати, они имели место, много позже на Лубянке во время до-

проса один из следователей обронил: вы у нас под колпаком с девятнадцати лет — здесь не оправдание. Но дураком был и сам Тоша, чем переводить верленов, все гнавший диссидентскую волну и перший без удержу на баррикады: я думаю теперь, что у него был комплекс, — перед друзьями, а еще пуще перед женой, — так скажем, непосадки.

Не знаю, кто уж там в КГБ оказался таким изошренным психоаналитиком, но Тошу упорно не сажали. Вокруг все авторы «Хроники» к 72-ому уж давно крепко сидели, а этот напрашивался больше всех, но гулял на свободе. В этом и был, наверное, расчет конторы, — Галины Борисовны, как это тогда называлось, — его мариновать. Они, отлично изучив хроническую интеллигентскую паранойю и бабскую глупость, могли точно знать, что рано или поздно у Тоши за спиной завьется шепоток: коли он всё на воле, уж не стукач ли он? Сейчас трудно представить весь ужас положения того, о ком так заспинно шепчутся: это случай славянина-брюнета, которого молва числит евреем, — чем больше оправдывается, тем крепче уверенность окружающих. Хождение к обедне уже мало кого переубедит, — и сядь Тоша тогда в лагерь, кто знает, не пустила бы Галя Борисовна инспирированный ею же убийственный слушок и туда.

Для Тоши же всё это оказалось истинно убийственным: припертый к стенке КГБ, он согласился эмигрировать. На его проводах все в той же уютной квартирке с двумя смежными комнатками в Зюзино пел Галич, демоничничал пьяный Вадик Делоне, стенали диссидентские подруги и пассии, расхватывали книги, — и рушился его многолетний мир (даже моего производства фо-

тографии, копии с портретов наших кумиров, приклеенные на стене,— и те расхватали). Двое бывших учеников преподнесли граненый стакан с гравировкой: говорят, что в дальних странах не найти нигде стакана. Но Тоша был трезв, страшно печален, глядел пассажиром тонущего «Титаника». Я многократно соучаствовал в подобном отъездном обряде, но такого собачьего выражения брошенности не видел в глазах ни у одного отъезжанта. Прибыв в Израиль,— Тоша вдруг с отчаяния, не иначе, вспомнил о своем еврействе, о котором никогда думать не думал, и в США ехать отказался,— он на первых порах отправился работать грузчиком на мельницу. По-видимому, это было воспоминанием о первых после студенческих годах, когда его во времена борьбы с космополитами не брали на работу школьным учителем, и он подрабатывал по-студенчески в Южном порту. Вскоре он засветился: принял участие в забастовке на стороне арабских грузчиков против еврей-нанимателя. Тем не менее, его взяли ассистентом на кафедру славистики Иерусалимского университета. Но все продолжало сыпаться: он разошелся с женой, сын вдруг заделался израильским правым, Тоша женился на девочке-еврейке, эмигрантке из Ленинграда, моих лет, завел датского дога и повесился в подвале своего дома жарким летним днем. Нашел его тело, шептались в Москве, именно дог...

В 90-м в Вашингтоне в доме Елены Якобсон, невестки знаменитого филолога и тошиного однофамильца, я познакомился с писательницей Руфью Зерновой, женой Сермана, известного сидельца, а тогда иерусалимского профессора. И спросил ее о Тоше. «Бедный

мальчик»,— только и вздохнула она. А я лишний раз вспомнил, что с Тошей меня связывало. И прежде другого — его книгу о Блоке, о «Двенадцати», названную им «Конец трагедии», мудрость которой портила политика — Тоша и здесь не мог скрыть своей истинной, будто был эмигрантом первой волны, даже не брезгливости, но горячей, как сковородка, ненависти к большевикам. Писал он почти что на моих глазах: как-то объявил, что на месяц съезжает из Москвы, и чтобы его не искали (позже мне пришлось вычитывать экземпляры первой перепечатки) он устроился в каком-то знакомом сарайчике недалеко от города,— и сочинил за двадцать дней около пятисот страниц, материалы, конечно, у него были готовы. Он запретил кому бы то ни было приближаться, однако за стеной оказался крольчатник, так что кролики скрашивали его вдохновенное одиночество. В редкие минуты досуга он посвящал этим милым животным стихи. Позже он декламировал эти вирши с удовольствием. Помню лишь, что кролик — он не человек, так начинался этот ушастый цикл. А заканчивался:

И питается не щами,

Но сырыми овощами.

Сам он тоже питался — не щами.

Приложение 2008 года

Пару лет назад мне с оказией доставили рукописное письмо из Иерусалима. Это было жесткое, не без оттенка раздражения послание, посвященное только что прочитанному вами эссе. Это было письмо от Майи, первой жены покойного Якобсона, которой попался на

глаза номер «Октября» с этой публикацией. Майя отмечала множество ошибок, допущенных мною (эта кара поджидает всякого мемуариста, полагающегося только на свою память). Единственной смягчающей эту отповедь фразой была оговорка: впрочем, чувствуется, что Вы его любили). Это письмо к великому сожалению затерялось. Но осталось в компьютере мое ответное послание:

Уважаемая Майя, —

и я сразу же спотыкаюсь, поскольку не помню Вашего отчества.

Я глубоко признателен Вам за Вашу благожелательность, которой я не заслужил.

Два слова. Яacobсон для меня был не только школьным учителем, но наставником, другом нашей семьи и т. д. Именно он направил меня на путь писательства — после какого-то заданного им сочинения, — и я действительно стал профессиональным литератором — то бишь, пером зарабатываю на хлеб. Пусть это не покажется Вам выпендрением, но его фотография и сейчас висит у меня над письменным столом. Он как-то надписал мне книжечку Верлена «Коле Климонтовичу от его читателя», она у меня на полке; он через меня сдружился с моими родителями, и отец-физик всегда держал для него бутылочку коньяка...

Теперь о сути. Конечно же, и его дошкольные (2-ая школа), и после отъездные обстоятельства для меня носят характер мифологический. Он по понятным причинам не обсуждал со мной, своим учеником, обстоятельств своей былой личной жизни. Что же касается жизни израильской, то до метрополии в те годы дохо-

дили лишь слухи, даже письма писать остерегались — впрочем, зачем я Вам это говорю. Незадолго до его гибели я посылал ему письмо с оказией — но теперь я понимаю, что в это время он болел, и ему было не до моих писем.

К величайшему сожалению, мне в руки попали Ваши воспоминания много позже того, как мои неловкие мемуары уже вышли из печати. Замечу в скобках, что это — не академический труд, а скорее беллетристика в мемуарной форме... Вышла уже и книга «Далее — везде» (из-во «Вагриус», 2002), частью которой является и глава о Яковсоне. Что можно сделать? Полагаю, греха не будет, если Ваше письмо ко мне и этот мой ответ появятся на сайте, посвященном ему. А книгу, в которой обнаружилось — как во всяких воспоминаниях о давнем (замечу, Тошу, так называли его у нас в доме, я в последний раз видел тридцать лет назад!) — множество мелких и крупных ошибок, даже касательно моей собственной семьи, даст Бог, ждет переиздание. И в него я, разумеется, внесу все необходимые исправления, которые содержатся в Вашем благосклонном письме.

Искренне Ваш Н. Климонтович

Глава IV

СКОЛЬЗКАЯ ДОРОЖКА

Не помню, кто меня туда заманил.

Это было помещение ЖЭКа где-то в Сокольниках, неподалеку от пожарной каланчи, и знает ли нынешнее поколение, что такое жилищно-эксплуатационная кон-

тора. Карлик-еврей по фамилии Бирнштейн занимал этот подвал — с десятком расхлябанных стульев и кумачовой кафедрой — по сговору с сентиментальным жэковским начальством, быть может, любившим Есенина (карлик писал стихи), — занимал под литературное объединение, — и пусть новая генерация отгадывает, что могло бы означать это словосочетание.

Помню лишь такое карликово двустишие:

Стихи тогда получаются отчаянно хороши,
Когда они вырываются нечаянно из души...

Впрочем, может быть, он был лилипутом, я слабо разбираюсь в малых формах, во всяком случае, когда его, умершего от воспаления легких и от инъекции взрослой дозы антибиотика (назначают же по возрасту, указанному в карте, а не по росту или весу), везли на кремацию, водитель похоронного автобуса был уверен, что хоронят ребенка.

Считается, что карлики злы, этот же, со сморщенной рожцей и маленькими морщинистыми ручками, был великодушнейшим и наивным человеком, что свидетельствует лишний раз о чудодейственных чарах российской словесности, если привязанность к ней может сотворить подобное даже из такого материала. Последний тезис косвенно подтверждает и то обстоятельство, что половую жизнь вел Симон (так его звали) с нормальными женщинами, здоровенными дурищами из курсисток, по переполненности соками сочинявшими нечто стихоподобное.

В подвальчике этом собирались еженедельно по средам десятка два юношей и девиц, читавших друг другу свои сочинения в стихах и прозе, но захаживали и

свои подвальные метры, все почему-то с фамилиями, позаимствованными у русской фауны, Белкин, Зайкин, Галкин, а флора оставалась в загоне, если не считать одной поэтессы, если память не подводит, Мочалкиной. В Сокольниках и началась эта моя дорожка, стартовала моя катакомбная жизнь в словесности, ибо, несмотря на свои неполные двадцать, я ухитрился накопить уже целый цикл рассказов — не считая тех, что остались в рукописных школьных тетрадках, то есть сочиненных в период до-машиночный (имеется ввиду подаренный мне отцом в моем десятом классе допотопный портативный Mercedes) — и уже графоманил следующий. Этот ранний цикл, написанный в подражание Хемингуэю и называвшийся, кажется, «Записки на клочках цветной бумаги», позднее пропавший на обыске, был невинным, как школьные любовные записочки, зато следующий, с которым я и выступал, был, что теперь называется, уже вполне крутой. Рассказывать ли, какое чувство я испытал на трибуне, впервые, давясь, зачитывая вслух свои неверные опусы...

Здесь подробнее об аудитории.

Немногие из тех мальчиков и девочек остались в профессии (выражение это я подцепил недавно от одного литературного дурня, женившегося на даме из вполне бандитской семьи и влипшего в бизнес обретенных родственников, — он подошел к моему столику в ЦДЛ вполпьяна и со слезой обнял: старик, за что тебя люблю, так это за то, что ты остался в профессии).

Да, собственно, какими ж мы были профессионалами в те студенческие годы, хоть и числили себя, конечно, сплошь писателями и поэтами. Была там компа-

ния из Педагогического: кой кто из мальчиков позже стал приметным критиком, но не прославился ни один. В компании была и одна девушка, не буду называть ее имени, она давно замужем и мать семейства. Девушка вовсе не была ни развратницей, ни растлительницей, напротив, писала прозу, и на редкость неожиданно оказалась как-то изумительной любовницей... Захаживали и посетители альтернативного университетского ЛИТО (бытовала такая аббревиатура), называвшегося «Московское время» и руководимого Игорем Волгиным. Последний давно профессор, молодо женат, родил троих, что ли, детей, знаток творчества Федора Михайловича и отчаянный полемист. Он мне повествовал как-то об уровне университетских студенток-журналистов: если на вопрос «в каком году была война 12-ого года?» соискательница могла ответить верно, то вне зависимости от качества коленок получала «удовлетворительно». Забавно, что вышеупомянутая дама по окончании обучения из тогдашней романтики отправилась в город то ли Томск, то ли Иркутск преподавать литературу; и этом самом Иртомске тоже пробавлялась подобными фокусами, задавала бедным сибирским студентам экзаменационный вопрос: кто из двоих был жена, а кто муж — Гаргантюа или Пантагрюэль?

Волгин терпеливо пестовал молодые дарования, и из-под его крыла выпорхнули самые разнообразные персоны текущего сочинительства — от «патриота» Александра Казинцева, подвизающегося многие годы в «Нашем современнике», до замечательных поэтов-эмигрантов Леши Цветкова и Бахыта Кенжеева, покойного Саши Сопровского, погибшего в Москве в сорок

лет, и самого приметного в компании, здравствующего, слава Богу, на родине и нынче увенчанного не одной премией Сережи Гандлевского, разродившегося к тому же не так давно прелестной автобиографической прозой, — к тому ж собачника: его беспаспортный боксер приобретен им и его милой женой с моей легкой руки...

О ком я еще не сказал, так это об Эдмунде Иодковском (отчество у него было, разумеется Феликсович), который, думаю, и привел меня в этот подвальчик. Он тогда жил в одной из комнат здорового барака прямо напротив Петровки-38, точнее, в одном из стоил, поскольку барак этот некогда был конюшней Станиславского. Коммуналку уже расселили, так что все стойла были к услугам. В этом заныре, как тогда выражались, мы прожигали жизнь на простой манер: распивали дешевое вино, а также читали вслух страница за страницей кошмарнейшее сочинение хозяина в жанре лирического романа под регулярно меняющимся названием — что-то вроде «Марсианка бродит по Арбату» или «Гостья с дудочкой» (последнее, понятно, позаимствовано у Ахматовой), — и что означало это обозначение жанра, всю используемое тогдашней пристяжной критикой, я и по сей день не ведаю. Кажется, Эдмунд, будучи старше меня на полных два десятка лет, верил, что молодое племя в моем лице может что-то такое подсказать ему, впервые сочинившему прозу, и это пойдет сочинению на пользу, сделав его развязнее, то есть «современнее». Заодно он использовал мои навыки знакомств на все на том же проспекте имени дедушки Калинина с бесхитростными представительницами противоположного пола, делая свой вклад путем пре-

доставления жилплощади с многочисленными расшатанными упорной работой его приятелей станками, как назывались тогда у записных гуляк всяческие диваны, кушетки и кровати.

Я действительно что-то подсказывал, но мой интерес лежал не в области станков и лирического романа, но в поле его обильных литературных воспоминаний. Скажем, Эдмунд рассказывал, что когда он, прославившись в девятнадцать комсомольским гимном целинников (выбравшие пепси вряд ли знают, что такое целина не в этимологическом, но в хрущевском смысле слова) «Едем мы, друзья» на музыку Мурадели (вспоминал, что ходил за гонораром с чемоданом, поскольку дело было до денежной реформы 62-ого года), получил распределение куда-то на Алтай на эту самую целину, разбежался к Евтушенко, с которым часто выступал в одной бригаде на обильных тогда поэтических вечерах: Женя, поздравь, еду на целину!

— Зачем?— спросил Евтушенко.

— Как же, Женя, нужно узнавать жизнь, поедем вместе!

— Жизнь везде, — холодно парировал тогдашний властитель студенческих дум...

Или такая история. Вернувшись в Москву с этой самой целины, Эдмунд попал «на Южинский», то есть в компанию Юрия Мамлеева. Это было специфическое сообщество, родившееся в ранние 60-ые, занимавшееся «мистической сексуальностью» и прочими эзотерическими изысками, — и мы еще расскажем об этой компании. Комсомолец и целинник Эдмунд явно был там случайным гостем. Заговорили о Ленине, и Мамлеев

высказал, что он думает об основоположнике большевизма. Эдмунд был так оскорблен, что смазал хозяина по физиономии. После чего был с позором спущен с лестницы, хотя мужик он был здоровенный, Элем Климов даже пробовал его на роль Гришки Распутина в «Агонии».

Его судьба разрешилась трагично, хоть я на этих первых страницах и хотел бы избежать сентиментальности и патетики. И это при том, что он считал себя счастливейшим и — без шуток — бессмертным человеком. Незадолго до смерти он заставил меня ехать на край Москвы, пользуясь тем, что я был за рулем, за какими-то дешевыми продуктовыми заказами, и мы, как в дни моей молодости, остались на какое-то время с глазу на глаз. Он тогда возглавлял бездарно-провинциальную газету «Литературные новости», к участию в которой имел поползновения привлечь и меня. Заговорили о чьей-то недавней смерти, и Эдмунд вдруг с непонятным для меня удовольствием потер руки: но мы-то живы. Меня кольнуло предчувствие, что это его удовлетворение, так простодушно выраженное вслух, — дурная примета... Об Эдике еще будет в другом месте. Пока скажу лишь, что он, никогда за все свои шестьдесят с небольшим ничем, кроме триппера и геморроя, не болевший и гордившийся своими восьмью женами, первая из которых была моложе его на два года, а последняя на тридцать два, погиб, пьяненький, самым нелепым способом — рядом с собственным домом под колесами автофургона, везшего ночью свежий хлеб из пекарни. Это было через несколько дней после того нашего разговора о живых и мертвых в моем автомобиле...

Но прежде, чем мы вернемся в Сокольники, следует сказать об общей литературной атмосфере ранних 70-х. Понятно, была тогда словесность официальная. Позже вошло в оборот выражение секретарская литература, но ее на круг было мало и авторов таковой было немного, по числу секретарей Союза писателей, бессмертных, как французские академики. Остальные продвинутые официалы в столице тоже чувствовали себя неплохо в материальном отношении. Деньги поступали так: внутреннее рецензирование в журналах и издательствах, выступления от Общества книголюбов, оплата больничных листов в Литфонде и время от времени гонорары, причем книга в издательстве «Советский писатель» была главным призом — его удостаивались раз в три-пять лет, в зависимости от стажа, заслуг и пронырливости. Сюда же нужно отнести и существенные льготы — всевозможные выплаты «на бедность», путевки в Дома творчества по символической цене, очень пристойное медицинское обслуживание, изредка — выезды в чужие страны в составе каких-то писательских делегаций и практически бесплатные дачи в Переделкино и Внуково, о процедуре распределения которых так выразительно написал некогда Булгаков. Так что чистых денег у расторопного члена средней руки в месяц набегало в размере профессорского оклада, что в большевистские времена было весьма и весьма недурно; и это при том, что рядовой советский официальный литератор был существом кромешно темным, глупым и ровным счетом ни на что не годным. Понятно, что членство в Союзе писателей при таком раскладе было равносильно получению генеральского чина или принятию

в Академию наук членом-корреспондентом, причем знания ни воинского устава, ни, скажем, неравенства Гейзенберга не требовалось вовсе. К семидесятым, — временам в полном смысле реакционным, — вакансии в Союзе были, конечно, заняты. Проникали туда уже только самые отпетые негодяи.

Однако как ни парадоксально, журналы и даже издательства печатали многих и не членов. Объяснялось это просто: из четырех тысяч московских членов реально что-либо путное, годное для обнародования, сочиняли двести-двести пятьдесят человек. Поэтому создалась довольно странная ситуация — основной объем литературной работы, журнальной, переводческой и даже беллетристической, выполнялся отнюдь не записными писателями, хотя от всех без исключений гонораров пятнадцать процентов забирал Литфонд. Получалось, что армия не членов этих самых членов практически содержит. Это было столь вопиюще несправедливо, что для литераторствующих, но не подпущенных к основной кормушке, было создано несколько отстойников, называвшихся Комитетами литераторов. Кто только в них не состоял, назову лишь некоторые и очень разные имена: Юлий Даниэль, Сева Некрасов, Григорий Померанц, Андрей Черкизов, Слава Пьецух; там попадались и совершенно фантастические фигуры: скажем, в моем Комитете, куда я поступил лет через шесть после симоновского подвала, председательствовал сценарист документальных фильмов о первых испытаниях советской атомной бомбы, знававший и Берию, и Курчатова, некто по фамилии Ионов. Там же заведовала комиссией по приему старушка Шаповало-

ва, «вдова майора Пронина», как я ее называл, то бишь бывшая жена легендарного Льва Овалова; когда того арестовали, она заочно развелась с ним и долгое время была полуофициальной подругой автора «Кремлевских курантов» Погодина; она рассказывала, что в 40-м Овалов, приехав из-за границы, из Риги, привез ей голубой наряд и отправлял в нем в кассу получать его гонорар за одну из повестей пронинского цикла «Голубой ангел», вот ведь какие были тогда артисты в словесности; в 41-м он, дружа с Петровым, редактировавшим «Огонек», этот самый Шаповалов опубликовал на обложке фото-портрет своего вымышленного майора, что, надо думать, и стало для МГБ последней каплей, — но это все в сторону... Так вот, вся эта полупечатающаяся причудливая публика, состоявшая в Комитетах или нет, чуть озлобленная, нищая и часто без дураков талантливая, и составляла мощный слой неофициальной словесности, в котором и варилось тогда все более или менее интересное.

Официалам из приличных в те годы тоже было не сладко. Только что из «Нового мира» убрали Твардовского, погасив тем самым последний очаг разрешенной в печати фронды. Журнальная жизнь являла собой пейзаж после битвы. Кое-кому как-то еще удавалось сопротивляться и выворачиваться — скажем, Юрию Трифонову, и как мне здесь не отвесить покойному поклон запоздалой признательности, помня, как он, прослушав однажды мой рассказ на каком-то семинаре, подошел ко мне и молча пожал руку. Но все как один, даже самые благополучные, вроде Андрея Вознесенского, всерьез считали себя гонимыми и ущемленными (последний,

помнится, жаловался публично, как его травили, три года не пуская «Треугольную грушу», — воистину, у одних в супе риса мало, у других жемчуг мелкий). Недаром именно в те годы один за одним разгорались скандалы в недрах самого Союза: исключения, сопровождавшиеся бурными заявлениями пострадавших — Максимова, Солженицына, Войновича, Владимова. Члены поменьше и исчезали потише — Аркадий Львов, скажем, или автор «Рыжика» Свирский, или отец Кыша, двух портфелей и песни «Товарищ Сталин, вы большой ученый» Юз Алешковский, — беззвучно эмигрируя по израильским визам. Кстати, Иодковский, принимая, как и многие тогда, эту популярнейшую в народе песню за фольклорную, приписал к ней один собственный куплет, тоже пошедший в народ, но стоящий в песне колом из-за литературности и безвкусыя:

Для вас в Москве открыт музей подарков,
Сам Исаковский пишет песни вам,
А нам читает у костра Петрарку
Фартовый парень Оська Мандельштам...

Как-то я назвал Алешковскому автора подделки;
тот скрипнул зубами и промычал я его убую...

Но вернемся в жэковский подвал.

Совершенно не помню, что читали там мальчики и девочки — какие-то стишата и рассказы, вполне ученические и невыразительные. Но метры делали кое-что действительно примечательное, и их тогдашние вещи, коли их сейчас откопать, многое бы рассказали о том времени. Помню, Белкин сочинял что-то в прозе, реалистическое и душное, и мне даже сейчас помнится рассказ о том, как мать послала малолетнего сына стоять в

очереди за постным маслом. Так вот, задолго до всякого концептуализма Кабакова и Сорокина этот самый Белкин описал сам феномен советской очереди, ее, так сказать, физиологию, даже сильнее — ее морфологию, если угодно. Другой персонаж тех лет по забытой мною фамилии был классическим и умелым литератором на все руки: писал венки сонетов, акrostихи, палиндромы, но мне запомнился один из его рассказов, как будто предсказавший появление много позже Виктора Ерофеева, — о страстной и трагической любви записного онаниста к туалетной комнате в каком-то режимном учреждении. Были там и довольно сносные поэты — помню читавших в этом подвале долгогривого Марка Лиандо, репортера из «Московского комсомольца» Сашу Аронова, специалиста по античной философии и давно профессора князя Арсения Чанышева; но самым ярким был прозаик Володя Галкин, который еще в те годы дал замечательные образцы густой мистической и эротической прозы, во многом напоминающей мамлеевскую, но более орнаментальной и цветущей, и без мамлеевских неоригинальных аллюзий на знаменитую дореволюционного издания немецкую книгу по сексопатологии начала века, единственно тогда доступную в Союзе в этом жанре. Галкинские рассказы мне хорошо помнятся: скажем, о любви героя к пантере из зоопарка, — и если бы он не был так болезненно осторожен и печатался уже тогда, — за границей, конечно, — у него сейчас было бы имя.

Не будь у меня опыта жизни в этой среде, я не понимал бы столь отчетливо, как многое в литературной карьере зависит не от таланта или трудолюбия, но от

связей и случая. В конечном итоге, очень многое из того, что позже, во дни отмены цензуры, стало продаваться как новое, было предвосхищено раньше в подвалах и катакомбах российской словесности. От этого ничего не осталось, имена позабылись и рукописи истлели, не попав в архивы Литературного музея. Это и есть отбор, вполне дарвиновский, в котором побеждает более активный, молодой и напористый. Им же, обитателям подполья, вовсе не знакомым с законами литературного рынка, казалось тогда, что все что ни есть на свете обеспечивается даром и вдохновением, а все что ни есть в них самих — ими же и оправдывается. Эта архаичная романтика, губившая не только французских «проклятых» поэтов, но похоронившая и бездну местных одаренностей, кажется, окончательно вышла из моды. Но в те годы русская Литература с успехом заменяла веру, а служение ей требовало своего рода столпничества. Конечно, этим монахам от словесности не хватало витаминов в прямом и переносном смысле, но не будем забывать, что имя им легион и это именно они своими скромными дарованиями унавозили почву, на которой потом все-таки кое-что взошло. С другой стороны не во всем виноваты их ограниченность, провинциальность и ригоризм: в наземной литературе тогда шла нешуточная борьба за место у корыта, и, помнится, я уже в те годы сформулировал универсальное простое правило: если вас зовут на какое-нибудь совещание молодых писателей, будьте покойны — касса находится в противоположной стороне...

Кажется, все тот же Эдмунд, теснивший карлика в его роли руководителя, выдвинул идею учредить лите-

ратурную премию ЛИТО «Сокольники». Механизм был очевиден: все посетители и члены объединения скидываются, скажем, по пятерке, а ареопаг метров решает, кого из молодых наградить. Премия досталась мне, — и с тех пор я никогда никаких премий, даже квартальных, больше не получал, хоть и выдвигался не раз на самые разнообразные. Протокол был тоже бесхитростен: мне торжественно под аплодисменты двух десятков таких же юных графоманов, как я, вручили какую-то грамоту, давно куда-то запропадившуюся за многими переездами, и то ли шестьдесят, то ли семьдесят рублей, что равно было тогда половине месячного жалованья средней руки инженера — вручили с условием, что большая часть будет тут же пущена на пропой. Водки по безденежью в этом кругу почти не пили, но — портвейн без закуски, и портвейна, должно быть, было закуплено немало.

Карлик решительно запрещал возлияния в самом подвале, ибо это могло послужить для начальства поводом к изгнанию. Пошли на двор. Помню, была осень на переломе к заморозкам, и вся компания вывалилась на улицу Гастелло и устроилась на лавочке под полуголыми уже тополями. Думается, я тогда был счастлив. Я не только обрел новых друзей — настоящих литераторов, — но и был принят ими: даже не только, как равный, но с признанием моего кое-какого первенства. Наверное, тогда, поднося горлышко бутылки с дрянным крепленным вином к не обсохшим еще губам, я грезил о грядущих триумфах, славе и успехах у взрослых красивых дам, листающих мои грядущие сочинения, от одной мысли о совершенстве которых меня пронимал озноб.

Что ж, я был юн, глуп, не ведал ничего о том, сколь скользка дорожка, на которую я столь неосторожно ступил.

Глава V

В ПОДПОЛЬЕ

Позже, много позже, оказавшись в Америке в среде русских эмигрантов, я почувствовал, сколь сильно они реагируют на запах свежей крови. Кажется, это вообще свойственно замкнутым по той той или иной причине сообществам. Вот и теперь, в литературной богеме, меня, как новую игрушку, принялись азартно передавать с рук на руки, — кто-то зашел случайно в красный уголок, в подвал к Симону, и извлек меня оттуда с тем, чтобы вывести, так сказать, в подвал пошире, в Подполье с большой буквы.

При том всякий раз во всякой новой компании приходилось проходить в той или иной форме обряд своего рода инициации, — подпольные литературные тусовки, как сказали бы нынче, начала 70-х сами себя ощущали чем-то вроде тайных союзов. В виде примера: в какой-то донельзя засраной квартире, где на кухне пили водку и закусывали квашеной капустой с газеты, а в комнате еще не ходящий, но ползающий по полу отпрыск хозяев оглушительно лупил по кастрюлям ложками, — ему выдали эти музыкальные инструменты, чтоб заткнулся, — меня, прежде чем предложить рюм-

ку, строго попросили прочитать самый древний стих, что я знаю; и лишь после того как я, поднатужившись, припомнил какой-то эпитафия из Сафо, похлопали по плечу и усадили за стол.

Тогда мир московского литературно-художественного андерграунда распадался на взаимодополняющие и пересекающиеся, но относительно самостоятельные группки, объединявшиеся или вокруг одного гуру, или постоянно собиравшиеся запросто в каком-нибудь гостеприимном доме, или у кого-то в мастерской. Уклад и быт, точнее — безбытность, этих домов и этих мастерских были на редкость теплы и семейственны, и этот уют, это единство, это чувство принадлежности, но без фанатизма, мнится, одна из многих потерь, которые понесла московская интеллигенция с крушением империи.

Впрочем, бывали, конечно, и эксцессы непримиримой идейной борьбы, так что было бы натяжкой рисовать уж вовсе благодатную картину ненатужного и непосредственного плюрализма — тогда, впрочем, так еще не выражались, — попросту терпимости друг к другу. Но было много доброты, извечной русской интеллигентской душевной бабьей жалости (помянем Розанова), много водки, и, глядишь, заклятые враги уж плачут друг у друга на груди, хором кляня комунык-большевиков. Так что на круг в тогдашнем подполье уживались, пусть не всегда мирно, и либералы-западники, от еврокоммунистов и теоретиков социализма с человеческим лицом, приверженцев идеи конвергенции, до христан-экуменистов, — с одной стороны, с другой — традиционалисты самых разных мастей

и оттенков, от сдержанных славянофилов и православных патриотов-почвенников, подчас самого реакционного толка, до мистиков и оккультистов, перепечатававших на Эрике, воспетой Галичем, которая брала четыре копии, Блаватскую и антропософские мемуары Андрея Белого. А здесь уж и концы с концами сходятся — та же Блаватская куда как космополитична.

Впрочем, живая мятущаяся духовная жизнь подполья пульсировала скорее все-таки в кругах, условно говоря, эзотериков, тогда как либералы питались преимущественно готовыми рецептами всяческого индивидуализма, особо не мучаясь и видя путь к счастью — счастью, так сказать, протестантского разлива, что, впрочем, ими не осознавалось, — лишь в скорейшем преодолении режима, с либеральной близорукостью не предчувствуя, сколь многими минами чреват подобный сценарий на российской почве (Солженицын, кажется, уже тогда это осознавал, — тогда или чуть позже); советские, да и русские вообще, либералы всегда были мало пластичны, немножко square, иначе не скажешь: либо истовыми политическими диссидентами, каким, увы, был покойный Тоша Якобсон — во всяком случае в те московские годы, либо либеральной окраски советскими интеллигентами-конформистами, зачастую партийными, наивными и жадными потребителями буржуазных западных второй свежести ценностей, перепавшими им из-под полы, всяческие переводчики и культуртрегеры с фигой в кармане, та самая интеллектуальная пятая колонна советского около партийного истеблишмента, что и сварганила поверхностную, как и они сами, ни о чем серьезном и глубоком и слышать не же-

лавшие, перестройку. Именно поэтому, когда своды подполья треснули, в проломе рухнувшей империи либералы оказались на резком свете, прогрессистами и вперед смотрящими, тогда как традиционалисты любых окрасок так и не смогли выйти, оставаясь в тени, и автоматически попали в стан реакции, парадоксально слившись в общественном мнении с немногими оставшимися правоверными коммунистами, фанатиками идеи, тоже оказавшимися, скажем так, заложниками собственного Предания... Вот в эту окаянную, путаную, одолеваемую одновременно один другой исключаящими порывами среду литературно-художественного и интеллектуального подполья, среду, объединявшую людей с несовместимыми в иных обстоятельствах группами крови, я и затянулся, и одно за одним пошли новые знакомства, сопровождавшиеся, конечно, нешуточным пьянством.

Сначала я познакомился с героями вчерашнего дня: с Володей Батшевым, румяным, но уже тогда, в свои двадцать семь, совершенно седым, заполошным, прославившимся тем, что его единственного из многолюдной компании СМОГистов посадили-таки и выслали на пару лет из Москвы в Красноярскую губернию; с Мишей Капланом, слишком вальяжным для неудачника, — впрочем, в те годы нищета, пьянство и маргинальность в этой среде отнюдь не читались знаками жизненного поражения, списывались на режим. Миша был одним из создателей еще более древнего, чем смогизм, совсем уж легендарного для меня движения у памятника — традиции чтения стихов у монумента Маяковскому в разгар оттепели, в самом начале 60-х, —

а также члена редколлегии первого в Москве не подцензурного рукописного литературного журнала «Синтаксис». У Батшева обретался и единственный встреченный мною на подпольных путях член Союза писателей, поэт по фамилии, кажется, Алексеев. Фамилию его я могу и перевернуть, зато помню его вирши:

Устав от мелкого предательства,
Уйду в охотники, в косцы,
Пока в журналах и издательствах
Хозяйничают подлецы.

И мне казалось тогда диковинным, что, оказывается, и в среде самой что ни на есть конформной официальной литературы, издали вполне однородной, тоже есть свои правые и левые, своя фронда и свои мерзавцы... В тот же год я познакомился и с Ленечкой, как называли его в Москве, то есть с основателем СМОГа легендарным Леней Губановым, и о нем я расскажу подробно в следующей главе. Губанов в свою очередь привел меня в квартиру Вадима Делоне, громко севшего некогда по делу о демонстрации на Красной площади в знак протеста против ввода танков в Чехословакию, писавшего пресные стихи и позже умершего в Париже очень рано, в тридцать с небольшим, — точнее, в квартиру его жены Иры Иоффе, где устраивались устные журналы, заканчивавшиеся, как правило, милицейской облавой с проверками документов у всех присутствующих — организовывал налеты, разумеется, КГБ с целью поугатать слабонервных. Впрочем, с Вадимом мы и прежде были шапочно знакомы — его отец-физик был коллегой моего отца, а с ним самим мы учились в одной

школе, он двумя классами старше, и я уже упоминал его имя в связи с яacobсоновскими проводами.

Это были вполне экзотические сборища, рекой лился портвейн, присутствовала публика самая пестрая. Помню одну провинциальную застенчивую девушку с растерянными глазами и скверными зубами; она заводила мужчин-семитов в ванную по одному, — оказалось, она приезжала специально туда, где собиралось много богемцев, из Ярославля, ей сказали, что еврейская сперма при приеме внутрь избавляет от прыщей. Здесь можно было увидеть весь цвет тогдашнего богемного подполья — от художников-нонконформистов вроде Оси Киблицкого до бывалых сиделых диссидентов, таких как Гершуни. Помню, туда привели как-то юношу, приехавшего из Симферополя, который читал заумные стихи для детей, составленные одними междометиями, — это был будущий классик советской детской поэзии безобиднейший и буржуазный Гриша Остер...

Там же я встретился и с легендарной в московской богеме Ларисой Пятницкой, с Лориком, как ее все именовали, и можно было считать, что крещение мое состоялось. Дело было так: на одном из устных журналов у Делоне я стоял в дверях набитой людьми прокуренной гостиной, только отчитав сам и слушая очередного выступающего, как сзади к моей спине тесно прижались две упругих дамских груди. Это и была Лорик, представлявшая таким способом свою визитную карточку.

Она была одной из тех редких женщин, которые не только страстно любят мужиков, эка невидаль, но понимают, внутренне принимают их и жарко им сочув-

ствуют. Помнится, она любовно именовала нас, мужчин, перпендикулярами; она называла нас детьми, приводя в подтверждение этого нехитрого соображения пример какого-то своего знакомого, у которого в крайнюю плоть была вшита по периметру мелкая дробь — для пущего ублажения дам; надо ж, восхищалась Лорик, сидят себе по нарам здоровенные лбы и в пиписьки дробь вшивают, чем не дети; она восхищалась мужским творческим духом, но сокрушалась, что при этом мужчины столь немощны; вот хоть Достоевский, он чисто физически не мог нести бремя собственных озарений; однажды, взглядываясь в меня, она задумчиво произнесла этот умрет за высоким забором. Увы, Лорик, боюсь, это одно из немногих твоих прорицаний, которому не суждено сбыться...

Лорик привела меня в дом Льва Кропивницкого — сына патриарха московской богемы Евгения Кропивницкого, который в 50-ые основал поэтическую и живописную барачную школу, выпестовавшую поэтов Холина, Сапгира, Севу Некрасова, художника Оскара Рабина. В доме Кропивницкого-младшего я читал свои рассказы из того же цикла «Синица в руках» — о проститутках из Интуриста, блядах с Калининского, о педерастах и прочей люмпенизированной публике, — и, наверное, решительный контраст между моей тогдашней внешностью мальчика из интеллигентной семьи и содержанием этих опусов производил на присутствовавших известное впечатление. Впрочем, для того, должно быть, чтобы я понимал, что такое действительная крутизна, словечко, впрочем, уже из нынешнего лексикона, мне здесь поставили магнитофонную ленту, на которой был

записан Мамлеев, читавший свои рассказы, — сам Юрий Витальевич обрелся тогда во Франции. Больше других мне запомнился рассказ «Не те отношения», про то, как студентка Верочка пришла к преподавателю сопромата на дом — сдавать зачет. Тот был в строгой тройке, впрочем, попросил ее раздеться, к чему Верочка была готова, лечь голой на кровать и повторять «Ой, петух!». Забирая зачетку, Верочка наивно спросила, отчего то же самое нельзя делать с женой. Не те отношения, был ответ. Рассказ вполне для «Крокодила».

У Кропивницких я впервые увидел и холеного жуира Генриха Сапгира с его женой Кирой, Киркой-сапгиркой, как называли ее в богеме, и мог ли я тогда знать, что и он сыграет свою роль в моей судьбе. За столом Генрих все больше рассказывал о ресторанах — он в качестве автора кукольных театров и детского поэта был богат тогда, — Кирка же пела слабеньким, но милым голоском фривольные французские народные песенки в собственноручных переводах... Они много лет назад разошлись, Кира давно живет в Париже в крохотной нищей студии, расплзлась, сочиняет памфлеты об эмиграции и мечтает напечатать их в России; Генрих уже в иные годы, когда никому не нужны стали кукольные театры, победнел, осел, стал пописывать прозу — верный признак усталости поэта, и те, кто не знавал его прежде, не поверили бы, сколь он был широк и блестящ; недавно после третьего инфаркта его отпели и похоронили; и давно нет в живых Льва Кропивницкого, и самого дома Кропивницких на Заставе Ильича, как, впрочем, нет и самой заставы; и вымахал здоровенным

парнем сын Лорик невесть от какого папы, а сама Лорик состарилась, и ей не на что вставить зубы...

Но тогда это была молодая женщина, стриженная под мальчика, с фигуркой грудастого пупса, с задорной попкой, чрезвычайно смышленная, нынче сказали бы — продвинутая, насмешливая и живая. Она шестнадцатилетней девочкой попала на Южинский — с улицы, быть может, — и называла Мамлеева папулей.

И здесь два слова о Южинском кружке, который я уж неоднократно поминал, не удосужившись объяснить — о чем речь. Это в высшей степени экстравагантное общество ко времени моего похода в подпольную богему уже распалось, но мне довелось знать нескольких его участников. Сложился кружок в двух комнатах коммунальной квартиры в доме в нынешнем Большом Палашевском переулке. Точнее, это был не дом — двухэтажный бревенчатый барак, но не в Лианозово, как у Кропивницкого и певца барачной жизни Игоря Холина, а в центре Москвы. Здесь обитал Юрий Мамлеев, служивший тогда, в начале 60-х учителем математики в школе рабочей молодежи, потом преподававший историю философии в Сорбонне, а нынче вернувшийся на родину, получивший квартиру в Раменских новостройках и издавший несколько книг прозы, в частности знаменитый роман «Шатуны», где у героя — два члена. Южинский кружок исповедовал всяческий эзотеризм — вперемежку кабалу с оккультизмом, эротический мистицизм с учениями стоиков и пифагорейцев, неоплатонизм и антропософию, короче всё, что могло служить более или менее прочной оградой между южинцами и простыми замороченными советскими интеллигентами.

Позже, познакомившись с Мамлеевым в Москве, я поразился тому, как этот невысокий, сутулый, невзрачный человек мог в легендарные южинские времена воздействовать столь магнетически на самых разных людей. Впрочем, быть может, в эмиграции его магнетизм несколько сваял. И откуда в нем восклубилось столько мизмов, ожививших невероятных чудовищ и уродов. Впрочем, ведь и Передонов, герой тетерниковского «Мелкого беса», был учителем и, кажется, тоже математики...

Здесь надо упомянуть и легендарного Евгения Головина, с которым, впрочем, я не знаком. Но, судя по воспоминаниям свидетелей, именно Головин, более интравертный нежели хозяин южинской лавочки Мамлеев, был для адептов интеллектуальным гуру. Совсем недавно мне попало на глаза его блестящее эссе «Антарктида», посвященное роману По о путешествии Гордона Пима, напечатанное, к слову, в прохановской черносотенной газете «Завтра», и сам этот факт отчасти иллюстрирует сказанное выше об идейной калейдоскопичности всякого подполья. В эссе этом Головин предстает как знаток Гермеса Трисмегиста и вообще герметической литературы, вот цитата навскидку: «Северный полюс — эманация фаллического первоединого в хаос космических элементов», и стоит лишь горевать, что Эдгар Аллан По по причине безвременной кончины никак не мог успеть посидеть на кухне в Южинском переулке...

Так вот, Лорик, будучи мамлеевской пассией, верной ученицей и confidentкой, была как бы мамочкой всей южинской компании, ее анимой, хоть были там,

конечно, и другие дамы. Она же осталась хранительницей памяти и архива, когда Мамлеев эмигрировал. Ко времени нашего с ней знакомства формально она была мужней женой художника-сюрреалиста Пятницкого, и, заметим, в те годы сюрреализм в России оставался еще актуальным художественным течением. Впрочем, Пятницкий был скорее сюрреалистом жизни, живописцем он был посредственным и теперь забыт; но тогда он пользовался известностью в богеме, жил на манер Зверева — нигде, и страшно наркоманил; я видел его лишь однажды за несколько месяцев до его смерти в коммунальной квартире на Кропоткинской, где нанимал комнату Игорь Дудинский, тоже мамлеевский выкормыш, на пару со своей первой женой Люшей, — Пятницкий спал под вешалкой в коридоре. Лорик вышла за него замуж фиктивно, видно — у того было плохо с пропиской, а взамен забрала себе его фамилию. Это был ее первый и последний законный брак.

А теперь о другом браке, Дудинского — в богеме Дуды — с Люшей, уж коли я вспомнил эту пару, — Лорик к этой истории имела прямое отношение.

Дуда, хоть и был учеником Мамлеева, эзотерическим эротоманом и мистическим не знаю кем, поступил, как приличный мальчик из номенклатурной семьи, на факультет журналистики МГУ. Ко времени получения диплома репутация его в глазах органов была столь подмочена, что в Москве по причине нелояльности эстетике режима приличная служба новоиспеченному журналисту не светила. Приятели Дуды по подполью 60-х продолжали святое дело андерграудного прозябания, передавали с рук на руки диковинный самиздат —

книги о масонах и алхимиках, а также редкие дореволюционные психиатрические издания по патологиям пола, неистово спорили в курилке Ленинской библиотеки, сочиняли самобытные трактаты, жили как на минном поле, а потом уезжали за границу по еврейской линии или спивались на родине с круга и погибали от наркотиков; Дуду ждала иная судьба. Отец Дуды — кстати, из приличного дворянского рода, — был партийный экономист и функционер немалого калибра, при этом, что важно, выездной. Нетрудно догадаться, какую отпрыск доставлял ему головную боль, и уйди юный Дуда в записные подпольщики — с карьерой папаше пришлось бы проститься. Так что отец поступил мудро, и частью под его нажимом, частью из романтики Дуда взял распределение на телевидение. Но не на Центральное, конечно, — на магаданское. Скорее всего, отец дал заверения соответствующим инстанциям, что сын исправится, возьмется за ум, искупит своей добровольной ссылкой молодые грехи, а те пообещали, если стряется такое чудо, через годик-другой устроить Дуду в столице. Кстати, так оно и вышло, и Дуда после Магадана лет десять пристойно трудился в какой-то газетке в системе Гостелерадио. В Магадане-то Дуда и женился в первый раз в возрасте двадцати трех лет.

Брак этот по всем статьям был весьма экстравагантным. Избранницей оказалась юная красотка по имени Люда — Люша в просторечии, в богеме тетя Лю. Была она из-под Москвы. Из Можайска, кажется, и ей пришлось срочно покинуть столицу под угрозой, что ее посадят за проституцию и отправят куда-нибудь в деревню за 100-ый километр. Тогда-то ее подруга по бо-

геме, — и это была, конечно же, Лорик, — придумала эту чудную комбинацию. А именно: послать Люшу Дуде в Магадан ко дню его рождения — Дуда, как и я, по знаку Зодиака овен — в качестве весеннего подарка, — все лучше, чем ссылка под надзор милиции куда-нибудь на Шатурские торфяники. И Люша полетела... Не могу в точности сказать, каким образом Люша вместо панели Белорусского вокзала, где она начинала свой самостоятельный жизненный путь лет в пятнадцать, оказалась в богемном столичном кругу. Один мой знакомец, сценарист О. О., тоже эксцентрик и половой мистик — но стихийный, вне организации, так сказать, — утверждал, что открыл Люшу именно он; будто бы, подобрав ее на улице, снял для нее квартиру, — это для него было возможно в те годы, О. О. писал на заказ сценарии конъюнктурных кинофильмов и слыл богатым даже в среде московских фарцовщиков; в квартире этой он держал ее под замком, заставляя упражняться в стихосложении. Это тоже могло быть правдой: в те годы версификация была почти непременной доблестью, а О. О. к тому же отличался невероятно стойкой склонностью к учительству и дидактике, настолько, что ухитрился из одной из своих короткопалых, в него, дочерей — шестой брак — сделать известную пианистку, при том, что сам играть ни на каком инструменте никогда не умел. О том, что было дальше с начинающей поэтессой Люшей, О. О. не распространялся, но вполне логично предположить, что он мог, скажем, проиграть ее в карты кому-нибудь из дружков по Дому кино. А там уж пошло-поехало... Так или иначе, но юная Люша оказалась женой молодого корреспондента ма-

гаданского телевидения, ходила в гости к Вадиму Козину, в незапамятные предвоенные годы сосланному туда за гомосексуализм, да так и осевшему, подпевала наш уголок нам никогда не тесен и смотрела на холодный океан, за которым, быть может, силою интуиции девичьей, истомленной русской сонемармеладовской судьбою, души прозревала Калифорнию, на которой ведь никак не могли успеть без нее выбрать все золотые прииски... Я познакомился с ними, едва они вернулись из Магадана в Москву, — чуть позже расскажу, как это было, — году что-нибудь в 73-м, — и, насколько мне помнится, Люша оставалась и в браке подвижницей на ниве плотской любви. Она встала на путь, что называется, дамской порядочности только в одном смысле — не брала деньги с мужчин, преимущественно друзей дома. Прожил Дуда с нею в Москве около года, а потом плавно перешел в руки ее товарки. Чтобы покончить с тетей Лю, скажу, что, поболтавшись в Москве еще какое-то время — у нее был своего рода салон где-то на Лесной, больше смахивавший, разумеется, на притон, — она отбыла увы не в Калифорнию, но во Францию, выйдя замуж за алжирца из Марсея. Пять браков Дуды спустя я видел ее у него в гостях, когда она навещала родину. Перемена была разительна: из сексапильной красотки тетя Лю превратилась в донельзя обношенное существо, а ее некогда замечательная мордашка теперь как-то ссохлась, испещрилась мелкими шрамами, напоминающими следы оспы. По-видимому, она крепко сидела на игле — алжирец в своем арабском квартале держал торговлю героином...

Но вернусь к Лорик, постепенно она сделалась моим Вергилием в мире московской богемы. Куда только нас ни заносило. Скажем, однажды она привела меня на трущобную Трубную — к Леше Хвостенко. Он принимал нас, не выходя из постели, в полном соответствии со своим личным гимном

хочу лежать с любимой рядом
хочу лежать с любимой рядом
хочу лежать с любимой рядом
а на работу не хочу, —

при этом любимая, заплывшая от анаши, шлындраля мимо нас в едва запахнутом халате, в тапках с подмятыми задниками, на кухню ставить чайник, а ее место в койке занимала гитара.

В свою очередь я приводил Лорика к Эдмунду, уже покинувшему станиславское стойло и отхватившему — спасибо комсомолу, не забывшему его услуги — вполне приличную двухкомнатную квартирку на Старом шоссе, окнами на морг красного кирпича больницы и опушку тимирязевского парка. Здесь мы как-то повстречали Николая Глазкова, легендарного поэта и автора неологизма самсебяиздат, как он маркировал собственные стихи, собственноручно сброшюрованные, еще в 49-ом году, — с тех пор это словцо вошло в интернациональный лексикон в усеченном виде samizdat. Он декламировал

Люся мне не отдается,
В этом Люсе не права,—

и декларировал на вхутемасовский манер, что новые панельные многоэтажки прежде, чем заселять, следует расписывать извне красивыми красками. Тогда это зву-

чало дичью, и он не дожил до времен, когда это стало в России, как ни удивительно, вполне возможным.

Здесь же пел и Леша Охрименко, автор легендарной песни

Я был батальонный разведчик
А он писаришка штабной, —
быть может, первый послевоенный бард, как позже стали довольно пошло именовать неприкаянных представителей этого народного — за вычетом салонных соловьев — бессребренического жанра.

Он был автором таких четверостиший — задолго до Губермана —

Всю жизнь работая в газете,
Дошел своею головой,
Что если стоит жить на свете,
То только жизнью половой.

немолодой лысоватый человек в потертом костюме, с жиром на воротнике пиджака. И он действительно всю жизнь служил в газете — «Медицинской». Он заунывно играл лишь на двух струнах семиструнной гитары, был безголос, но вместе с тем студенчество 60-х лихо распевало его «Великий русский писатель Лев Николаич Толстой» или «Отелло, мавр венецианский, любил Отелло ой пожрать». В тот вечер Охрименко пел:

Сосудик в мозге оборвался, ах!
Приятель в морге оказался, ах!
Друзья сегодня тоже тут как тут,
Плачут и поют:
Сосудик в мозге...

После долгих, сколь угодно долгих, повторений, — с небольшими вариациями, — неожиданно возникала другая тема:

Но есть в этом городе женщина одна,
Может, любовница, а может, и жена,
Она сегодня тоже тут как тут
Плачет и поет:
Сосудик в мозге...

Я никогда больше этой баллады не слышал, а между тем в ней был неподдельный пронзительный лиризм, — кто знает, может быть кроме Охрименко никто и не смог бы этого спеть. Кажется, это было его последнее сочинение, вскоре он умер, причем, как и предсказывал: сосудик в мозге оборвался...

Как-то Лорик перезнакомила меня с тогдашними московскими хиппи. Как и положено бунтарям, это были сплошь мальчишки и девочки из очень приличных семей с милыми светлыми юными лицами. Высшим шиком у них считалось уличное попрошайничество, причем отряжали на промысел чаще всего девиц. На деньги, что удалось сшибить, они сидели в крохотном кафе на Суворовском бульваре, — давно нет ни имени бульвара, ни самого заведения, — которое между собой называли отчего-то Вавилон, а в теплое время года — на психодроме, как именовался на их языке сквер перед старым зданием университета на Моховой. Теперь всяческие маргинальные молодежные движения стали общим местом, но тогда эти русские дети цветов, подвергавшие себя нешуточным гонениям, были первыми в стране: ни стилиаги 50-х, ни туристы 60-х не исповедовали столь радикального эскапизма.

Именно тогда родилась мода на квартирные выставки. От обычного показа вещей тем или иным художником в его собственной мастерской они отличались принципиально: эти выставки были коллективными, то есть крайне опасными для властей, ибо ничего так не боялись коммунисты, как единства, порождающего вождей и героев. Именно с Лорик мы были на памятной выставке в квартире Оскара Рабина, где умещались на стенах и Одноралов, и Плавинский, и Целков, и Краснопевцев, и Немухин, и Жарких, и сам Оскар, конечно, я тогда открыл для себя этих художников: знаменитая выставка в парке Измайлово и не менее памятная на ВДНХ, в павильоне пчеловодства, смогли состояться лишь несколькими годами позже после долгих борений с властями. Там же, на квартире Рабина я впервые увидел и Анатолия Зверева — он, плюясь, юродствуя и колдуя, разбрызгивая гуашь, яростно рисовал в присест портрет какой-то дамы, положив ватманский лист прямо на паркет... Лорик же привела меня и на первую в Москве квартирную выставку концептуалистов. Там был и черчелевский железный занавес — прямоугольный лист железа, повешенный на стенку, и рубаха Сапгира с записанными на ней сонетами, и красный насос Комара и Меламида, проживавших тогда никак не на Манхеттене, а где-то в Черемушках...

Я пытаюсь из обрывков воспоминаний, из мельканья лиц, хоть отчасти воссоздать тот карнавальный мир художественного подполья первой половины 70-х, мир тоже навсегда канувший и потерянный, и говорит во мне не только ностальгия: такого творческого воодушевления, такого жизненного подъема России не ви-

дать еще долго. Во всяком случае, сейчас, когда я пишу эти строки, с тех пор прошло без малого три десятилетия, но ничего подобного не повторилось... Скажем, упомянутая концептуальная выставка происходила на квартире, которую нанимала странная молодая дама: это было дагестанская еврейка, сбежавшая из родного горного аула — в Москву, и жившая, разумеется, без прописки. Представьте себе на секунду лужковскую Москву и горянку-иудейку, нетвердо говорящую по-русски, без регистрации, устраивающую на чужой квартире выставку, на которую тянется со всего города самая пестрая публика с питьем и угощением: от аспиранток искусствоведок и англичанок-слависток до тех же хиппи и нас с Лорик. Это был чистый и искренний праздник жизни и фантазии, бенгальски искрящийся, пенящийся и бурлящий, недаром именно тогда в Москве стало модно словечко хэппенинг, — и всё на фоне серой и нищей кагебешной брежневской Москвы. Праздник во время застоя, на краю бездны, в которую уж сползал многонациональный СССР, и всем в той или иной мере было внятно, что мы стоим перед лицом величественной картины гибели целой советской цивилизации...

Я удержался бы объяснять это творческое состояние постоянной приподнятости и готовности преступить все запреты лишь компенсацией духом — недостаточности плоти, мол, с голодухи лучше пишется: художнику всегда надо столько, сколько ему надо. Как и тем расхожим мнением, что в России, мол, лишь под прессом слезки и ссылки рождались гении: один Серебряный век опровергает такого рода соображения. Нет-нет, как

и в Серебряном веке здесь прежде другого важны эсхатологические предчувствия...

Но продолжу. Родители мои всегда были весьма снисходительны. И со школьных лет ко мне приходил в гости самый разный народ, причем занимали мы самую большую в квартире комнату, не слишком заботясь о тишине и приличиях. И вот однажды, — быть может, это был какой-то праздник, — Лорик привела ко мне весьма причудливую компанию. Это была пара — он краснощекий, бритый наголо увалень, она — невероятной хрупкой красоты юная дама, по замашкам — скажем по-евангельски — блудница; а с ними какой-то невзрачной внешности вполпьяна малый с гитарой. Лорик представила: Дуда, его жена Люша, Дугин. Сразу покончу с Дугиным — он представлял самый молодой призыв Южинского, придя туда уж на излете кружка, но, кажется именно ему принадлежит широко разошедшееся определение этой среды как шизоидного подполья, недаром потом он заделался идеологом; в тот вечер он напился, орал, гремя невпопад гитарными струнами, песни про вампиров — собственного сочинения, и казался записным истериком, которому недостает внимания окружающих. После я узнал, что он — сын генерала КГБ, который — генерал — выписывал ордер на обыск в собственной квартире, чтобы изъять из комнаты сына Бердяева и Нилуса. Теперь он — не генерал, сын — сделался философом-традиционалистом и пишет манифесты лимоновской партии национал-большевиков. Я с Дугиным, к счастью, больше ни единожды не встречался, но читаю его опусы и журнал «Элементы» с большим интересом.

Дуда и после того вечера многие годы потчевал меня самыми невероятными знакомствами. Скажем, среди художников-нонконформистов, с которыми Дуда многие годы дружил, был один, мне особо симпатизировавший — с пышными усами Толя Л. Толя писал всегда один сюжет — траву, причем очень дурно: эдакий Толя-Таможенник. Меня в нем поражала одна особенность: из всех представительниц женского пола он решительно предпочитал парикмахерш, и пусть фрейдист расшифрует эту параллельную тягу к траве и к стрижке.

Однажды я пришел к Дуде на улицу Кедрова — я тогда составлял запретный альманах Каталог, о котором позже, и, кажется, пытался вербовать его в участники. У Дуды я наткнулся на парня, бритого наголо, чем-то кста-ти на хозяина похожего, который представился: Дарик. Это был нынешний вождь российских исламистов Гейдар Джемаль, и с Дудой они как раз в то время писали новый русский Коран — «Ориентация-Север» (и это при том, что, понятное дело, ориентация может быть только на восток). Причем писал Дуда, Гейдар работал вдохновителем и генератором идей.

Наконец, именно через Дуду я узнал Толстого, Володю Котлярова. Что б не повторяться, приведу здесь мою заметку о нем из «Московских новостей».

ТОЛСТЫЙ — ФРАНЦУЗСКИЙ РУССКИЙ

Он проездом в Москве — из Тбилиси в Париж. С работы — домой. Французский актер Владимир Котляров по артистическому псевдониму Толстый, участвовавший в четырех десятках французских лент, сейчас

снимается в главной роли в картине Михаила Калато-зишвили по сценарию Рустама Ибрагимбекова «Мистерии» совместного русско-французского производства. Действие будущего фильма происходит во Франции, в Санкт-Петербурге, в Тбилиси. Съёмки грузинской части ленты только что закончены.

— Мои самые важные работы в кино? Для меня это — фильм «Бразье» Эрика Барбье. Это название здесь было переведено почему-то как «Угольная пыль». На самом деле, бразье — пламя, костер. Но и специальное приспособление в шахтах, в котором открытый огонь поглощает вредные испарения. Так вот, Бразье — кличка моего героя, шахтера-поляка...

Толстый сидит в кресле в одной из двух комнат квартиры своих московских друзей университетской молодости, полной антикварной мебели. Этот фон — не случаен, многие из этих вещей Толстый когда-то реставрировал собственноручно. По образованию он — искусствовед, по жизни — свободный художник, двадцать лет назад эмигрировавший из СССР. Среди его экстравагантных художественных проектов: перфоманс «Несение креста на Голгофу», после которого он ознакомился с распорядком израильских околотков, изобретение «мэйл-арта», издание эмигрантского литературного журнала «Мулета», содержание которого вполне соответствовало названию, того же направления газеты «Вечерний звон». Но в сорок пять его артистическая натура успокоилась тем, что он стал французским киноактером.

— Бразье, уволенный из шахты, чтобы содержать семью вынужден тряхнуть стариной и выступить как

профессиональный боксер. Пришлось полгода тренироваться, сбросить двадцать килограмм, а мне было уже далеко за сорок... Как я получил эту роль? Однажды русский художник Олег Яковлев оставил на двери записку, куда я должен идти. Я туда пошел — я тогда очень сильно хотел есть. И пришел в массовку к молодому человеку, который снимал свой первый дипломный фильм «Потерянное лицо». Это и был Эрик. Там нужны были русские морды. Это был фильм о том, как из России, захваченной большевиками, бегут не только западные люди, но и какие-то казаки, деклассированные офицеры. Я пришел и сказал, что могу сыграть даже шум падающей лестницы за сценой, но меня накормить нужно немедленно. Меня никто не понял, переводчица была лишь через полчаса, мне дали поесть, а еще через десять минут Барбье остановил съемку и сказал, что сюжет мы оставляем, но меняем сценарий, и главным героем будет — он. То есть я. Кстати, рискованное решение для дипломника парижского ВГИКа, ведь я тогда вообще не знал языка...

В Москве Толстого-актера знают не столько по «Угольной пыли», сколько по широко известному здесь фильму Патриса Широ «Королева Марго», где он играл роль Палача, в каком-то смысле палача-интеллектуала, а также по любимому у нас Клоду Шабролю, — Толстый снимался у него в эпизоде фильма «Холодный пот».

— Нет-нет,— протестует Толстый.— Меня скорее узнают здесь по фильму «Индеец в Париже». Там я играю роль беспардонного, но по первому впечатлению окружающих — очаровательного человека, который привозит в Париж чемодан долларов и в конце концов

предстает отвратительным. Это первый образ «нового русского» на западном экране. Что же касается Палача, то он принес мне множество хвалебных отзывов, при том, что здесь впервые меня озвучивали. Ведь во всех остальных случаях я играл иностранцев, а Палач времен Екатерины Медичи никак не мог говорить с акцентом. Ну а у Шаброля я вообще играл санитаря сумасшедшего дома...

Насколько можно понять, у Толстого во Франции сложилось прочное амплуа. Он как бы работает на должности французского русского. Скажем, празднуется юбилей Дягилевских сезонов. Кто должен быть в оргкомитете от французских русских — Толстый. Он заседает в жюри русских французских кинофестивалей, он приглашаем в мэрию как представитель нынешнего русского комьюнити в Париже. Ему, завоевав Париж, остается теперь лишь отвоевывать Москву.

Не буду ничего добавлять. Скажу лишь, что Толстый — бабник, говорун, гастроном — один из лучших подарков, что когда-либо мне сделал Дуда. И еще одно: мы шли с Толстым как-то по его району в Париже, что-то вроде московских Крылатских Холмов, и вдруг перед нами оказалась кучка тинейджеров, с восторгом Толстого оглядывавших. Что ж, благодарные французские зрители узнают его на парижских улицах... Но меня снова относит в наши дни.

Я так долго о Дуде не только оттого, что он был мой товарищ по московскому подполью, но прежде другого потому, что Дуда в известном смысле это самое подполье олицетворял, будучи без сомнения долгие

годы одним из самых ярких его персонажей. Скажем, его перу — а он первоклассный журналист — принадлежал памфлет «Как мы врем», и ему же принадлежит изобретение словечка диссида, примененное для обозначения публики, роившейся около и возле собственно диссидентского круга, но никогда ничем не рисковавшей. Ради правды исторической надо сказать, что Дуда был первопроходец — а это всегда требует отчаянной смелости: его памфлет предвосхитил и роман обиженной любовницы Юлия Даниэля «К вольной воле заповедные пути», разоблачавший нравы диссидентов, и, так сказать, советских «Бесов», замечательную книгу моего покойного друга Володи Кормера «Наследство», — и о Володе я еще успею сказать на страницах этой книги.

Дуда всегда был записным многоженцем. Только официальных спутниц жизни у него было около десятка, а неустанно менять жен — неприменная привычка богемы нашего поколения, да и не только нашего. Пять-шесть браков в этом кругу были нормой, но и Дуда не был чемпионом: у Эдика Иодковского было восемь жен, а у упомянутого сценариста О. О. — двенадцать только официальных супругов. Впрочем, не знаю, как у других, но у Дуды многоженство было — от нежности. Точнее, от потребности оной, хоть и сам он, влюбленный, бывал нежен как теленок. Ленивые буржуа, когда иссякает первый пыл, продолжают жить с потускневшей в их глазах избранницей, привыкая к разговорам о деньгах, пропуская мимо ушей, когда им принимаются указывать на их несовершенство, на пролитую на пол ванной воду, на незакрученную крышку тюбика зубной

пасты, приноравливаясь к тому, что желание возникает все реже, и заводят любовниц на стороне. Не то Дуда. Едва страсть, не только в постели, но — к его разговорам, причудам, неординарности и талантам — у подружки притуплялась, — он находил следующую. А подчас и упреждал такой поворот дел. Зачем при этом он женился? Праздный вопрос, ни одна любовница не даст так много, как женщина, которой при первой же встрече делают предложение. А Дуда умел из женщин выжимать все до донышка. И лишнее тому подтверждение в том, что всякая из его бывших жен вспоминает о нем с нежной благодарностью... Здесь некая загадка, оксюморон, доброта вампира, добросовестность ловца женских душ, не забывающего оставить гонорар...

Но подполье не отпускает, как воровская шайка, продолжая морочить и тех, кто, пытаясь освободиться из его тесных пут, отказывается от латреамоновских замашек, от жизни в соблазне аффекта и преступления черты; да что там — даже если человек просто решает себя полюбить, бросает пить, переходит с чафиря на какао, принимает жрать проросшее просо, ложиться под капельницы с физиологическим раствором, не брезгует иглоукалыванием и вращением мантры, всё в надежде остепениться, — подполье рано или поздно возвращается; впустив его однажды в себя, вы от него уж не избавитесь. И это еще полбеды — подполье умеет мстить самым коварным образом. И я напоследок расскажу вам такого рода печальную историю.

Татьяну Дуда нашел в обменном пункте. Она сидела в окошечке под охраной и обменивала зеленые на отечественные — и наоборот. Чертами лица она напо-

нила сразу двух или трех его — из шести — прежних жен, мне это стало ясно, едва я взглянул на нее в первый раз. Она была почти на голову выше его, при том что Дуда сам не маленького роста, метр восемьдесят, вполне прилично для нашего поколения, а все предыдущие жены едва доставали ему до плеча. К тому ж — впервые, он никогда не гнался за молодостью — по возрасту она годилась ему в дочери. Ухаживал за дамами Дуда всегда виртуозно, делая витиеватый и заманчивый микс из само возвеличивания и самоуничижения, работая на женских восхищении и жалости одновременно; к слову, я этого никогда не умел, всегда пыжась перед предметом, глупо распуская хвост, — нет, чтобы приплести хоть, что у меня, скажем, отит как осложнение гриппа, меня бросил папа и с двенадцати лет аллергия на губную помаду и дамское белье... С Татьяной Дуда обвенчался, хоть он уж два раза — ортодоксальная церковь это никак не приветствует — был венчанным мужем, — венчался он, циник, эстет и, разумеется, язычник, из красоты и торжественности обряда, это всякий раз производило впечатление на избранниц: наверное, каждая женщина мнит, что венец ей к лицу. Мне, помнится, он сказал: эта — последняя, — думаю, искренне, хоть он и говорил так всякий раз. К этому времени Дуда стал прилично зарабатывать в желтой прессе, описывая самим же придуманные ужасы, расчлененки и нападения стай крыс на обнаженных любовников, и даже подарил Татьяне норковое манто — он никогда не был скуп, просто никогда не имел денег. И обещал отвезти в Париж, к Толстому. И отвез бы, будьте уверены.

Дуда каждую жену стремился обучить всему, что любил, без скидок на то, что партнерша может чего-то не понять, — превосходная черта не быть даже с самой невосприимчивой ленивым и высокомерным, не ставить, так сказать, ни на ком крест. И, мягко скажем, простоватая Татьяна великолепно справлялась с ролью. Она лишь стала постоянно несколько болезненно возбуждена. Конечно, у нее была дурная наследственность, конечно, она и сама пила. Чего ей делать было совсем нельзя, как всем предрасположенным к истерии, и, кстати, Дуда всячески сдерживал ее. Но было и другое: она чувствовала себя среди его знакомых — а он принялся часто выводить ее — лишней и неловкой, ну да кто ж этого не проходил в молодости, приобщаясь, так сказать, свету. Часто к ней относились иронически — как ко всякой седьмой жене, с которой еще не свыклись, — но Дуда объяснял ей, что это всего лишь принятая в этом кругу манера поведения, и она верила, Дуда и сам — насмешник. Но главным было все-таки не это — просто она впервые получила своего мужчину и понемногу стала чудовищно ревновать его к прошлому, становиться заложницей его многих браков. Потому что, как и почти все мужчины, он привык рассказывать о себе, не таясь. В этом не было и доли позерства, он был уже не в том возрасте, когда хвалятся количеством своих дам, — просто-напросто, как и многие из нас, он не был на войне, не сидел в тюрьме, а друзья, книги, картины и женщины были главными впечатлениями его жизни, и о чем ему было еще с Танюшей говорить. Но не без гордости, впрочем, он повествовал о качествах своих жен, — а ведь некоторые и впрямь были по-

своему яркими, и она слушала его с жадностью мазохистки. А потом взяла моду вновь и вновь выпрашивать сама все новые и новые подробности. В простом ее уме камушек к камушку возносился ужасный в своем великолепии подавляющий храм прошлого ее мужа, богемца и Казановы, храм, в котором для нее не было места, и это вам не светский раут. Ревность к прошлому — самая мучительная разновидность этого разрушительного чувства, ибо поделаться уж ничего нельзя. Победить своих соперниц она могла только одним путем — затмить их. Одной молодости здесь было явно недостаточно, те ведь в его памяти тоже оставались молодыми, так что ей, простушке, пришлось изыскивать и в себе резервы экстравагантности. И тут Дуда, пусть невольно, выступил в одной из главных своих жизненных ролей записного подпольщика — в роли провокатора: он нашептывал ей, утешая, что она, Таня, чудеснее и необычнее всех бывших. Он-то таким образом лишь пытался забрать власть над ней, но она и впрямь стала казаться себе вамп, хоть и не знала, скорее всего, такого слова. Она боготворила его и стала пытаться как бы заслонить его от мира, не защитить, а именно закрыть мир собою; он только посмеивался, не понимая, какого джинна выпустил из бутылки, ведь в известном смысле она становилась оправданием его беспутного прошлого. Она стремилась поразить его. Хоть как-то, хоть чем-то. Однажды ей это удалось как нельзя лучше: Таня выбросилась из окна его квартиры с шестнадцатого этажа на его глазах. Они вернулись из гостей, она была вполпьяна, сам Дуда — абсолютно трезв, уже больше года как в завязке. Едва войдя в комнату, она сбросила с плеч то самое ман-

то, рванула балконную дверь и ринулась к перилам. Он не сразу понял, что происходит, и успел лишь кончиками пальцев проскользнуть в последний раз по шелку ее кофточки. Таня погибла, так и не увидев Елисейских полей. Вот только не сообразила, что произведенного ею на мужа впечатления увидеть уже не сможет. Разве что оттуда, сверху, куда по слухам и попадают такие бесхитростные души.

Глава VI

ЛЕНЕЧКА

Забежим в год, что-нибудь, 79-й. Мы сидим на кухне маленькой двухкомнатной кооперативной квартиры Жени Харитонова, нищей кунцевской квартирки, тогдашнем предмете моего постоянного вожделения и зависти, купленной им на деньги родителей и в результате фиктивного брака на москвичке (сам он был из Новосибирска, впрочем, о Жене я еще подробно расскажу ниже). Быть может, мы чуть выпиваем, — Женя был человеком пьющим лишь по необходимости составлять компанию своим мальчишкам-пассиям, которых подбирал зачастую на улицах, на вокзалах, только что не в общественных туалетах — любил молодость, вульгарность, брутальность, — но пригубливал и со мной время от времени. И говорим, конечно же, об отечественной словесности, — это лишь в наши дни стало неловко в интеллигентном кругу обсуждать столь наивный предмет. Не помню к чему, но Женя вспомнил, как в давние го-

ды, учась во ВКИГе на актера, получил от кого-то из соучеников-москвичей перепечатанные на машинке стихи: «Полина, полынья моя, ведь если любят — значит губят» и т. д. Тогда он был пленен ими, даже переписал, но теперь не помнил имени автора. «Леня Губанов, — сказал я, — это мой приятель. Более того, он и живет неподалеку».

Женя восхитился. И спросил, не могу ли я его с Губановым познакомить. «Хоть сейчас», — ответил я и набрал телефонный номер...

Сказать по правде, Леню я к тому времени не видел уж пару лет. А ведь какой-то, и немалый, срок мы общались чуть не ежедневно. Наше знакомство произошло заочно, причем он об этом, как и положено автору, не подозревал. Дело было в 64-ом. Я отчетливо помню, как в купе поезда, везущего всю семью — за исключением бабушки — в Литву, в сторону июльской Паланги и балтийского приобья, я открыл свежий номер журнала «Юность». И помню у меня, тринадцатилетнего (я был глотающий книги мальчик, но, увы, ничего не понимал в стихах и переписывал в заветную тетрадь что-то вроде помню я девчонку с серыми глазами, что могла моей женою стать), перехватило дыхание, когда я прочел такую строфу:

Холст 37 на 37,
Такого же размера рамка,
Мы умираем не от рака
И не от старости совсем...

Сегодня трудно объяснить восторг — подобное же было отнюдь не только со мной, как потом многократно выяснялось, — который я испытал тогда от этих двена-

дцати, только три четверостишья, строк безвестного юноши (в аннотации было сказано, что ему — семнадцать, и он ученик Художественного училища). Конечно, молодой напор, свежесть интонации и не банальность рифм. Но и дерзость, чего стоила одна сакраментальная тогда цифра «37». И намек: «не от рака, не от старости». Хотя при этом последние строки были такими: «И умирать из века в век на голубых руках мольберта». Но это казалось флером, уловкой, а значит — тоже гениальным, к тому ж — о чем мы думаем в тринадцать, как не о бледности и смерти.

Заранее надо сказать, что намек на 37-ой год (он всем услышался тогда в этих строках), как я теперь понимаю, отсутствовал. Речь шла о тридцатисемилетнем возрасте, роковом для русских поэтов. Леня провидел свою судьбу уже в шестнадцать: он действительно умер в тридцать семь — не от рака и не от старости, но и не «на голубых руках мольберта», — от алкоголя. Хотя в каком-то смысле — на руках поэзии... Но вернемся к журналу «Юность» более чем тридцатилетней давности.

Стихотворение называлось «Художник». Как я узнал много позже, это были три четверостишья, выхваченные Евгением Евтушенко из разных мест шестнадцатилетней ленинградской поэмы, той самой «Полины», в попытках склеенные и поименованные. Ибо вся поэма — по причинам отнюдь не столько цензурным, сколько чрезмерной младости и неведомости автора, пройти в печать никак не смогла бы. Но вот что доказывает закономерность моего тогдашнего восторга: эти двенадцать строк вызвали дюжину возмущенных, плюющих

ядом, фельетонов в дюжине московских изданий, от «Крокодила» до «Комсомолки», — почти что по одному отзыву на всякую строку, — за которыми стояла вся идеологическая мощь большевистского государства, — почти по плевку на каждый прожитый год юного сочинителя. И эти три строфы так и остались единственной прижизненной публикацией Губанова на родине, а эти оскорбительные рецензии — так никогда и не зажившей раной леничкиной души.

Леня всегда считал, что вся эта история — от начала до конца — дело рук Вознесенского и Евтушенки, бывшими тогда членами редколлегии катаевской либеральной «Юности». Мол, они таким образом навсегда избавились от конкуренции с его стороны. Не думаю, что Евтушенко, одной рукой печатая Леню, другой обзванивал редакции и заказывал ругательные статьи, он никогда бы так не подставился. Но, будучи мастером литературной интриги, не мог не понимать, что такая неподготовленная чрезмерно яркая публикация неотвратимо погубит официальную репутацию молодого неизвестного пиита. Более того, никто из них и не вступился за юного «художника», когда началась травля, глухо промолчав. И позже неизменно избегали помянуть его имя, когда давали интервью с неизбежным ответом на вопрос «о молодых».

Забегая далеко-далеко вперед, в год 87-ой, расскажу: в одном московском ДК, как это называлось, устраивался большой вечер памяти Лени, — с официальным оглашением и печатными афишами. Вечер революционный — до тех пор имя Губанова было под строгим запретом. Вести это поминальное шоу предложили барду

и другу Лени Володе Бережкову и мне. Чтобы дать представление о том, сколь силен в то время еще оставался прежний страх, скажу, что за день до даты вечера мне звонил давнишний товарищ Губанова по СМОГУ (об этом обществе «Слово, Мысль, Образ, Глубина» — одна из расшифровок этой аббревиатуры — речь ниже) поэт Владимир Алейников и умолял не поминать со сцены его имя ни словом: боялся за судьбу своих издательских договоров, которые наконец-то пришли к нему после двух десятков лет непечатанья. Впрочем, составилась и обширный список желавших выступить: в нем были и поэт Ольга Седакова, и Алена Басилова, бывшая некогда губановской Музой, и поэт и драматург Витя Коркия, и менестрель Алик Мирзоян, кто-то из круга смогистов, конечно. И вдруг в фойе перед самым началом вечера я обнаружил долговязую фигуру Евтушенко. И предложил ему выступить. Тот категорически отказался, причем самым высокомерным тоном. Мне было известно, однако, что Дуда, один из восторженных почитателей Лени и человек, немало с ним выпивший за долгую жизнь о-бок в богеме, позже составивший первую ленинскую книгу на родине «Ангел в снегу», подготовил речь, в которой были пассажи о сальерианской роли Евтушенко в губановской судьбе. Я уговорил Игоря их опустить, — во-первых, за недоказанностью, во-вторых, вокруг этого вечера и без того стояла уж густая атмосфера скандала. Игорь послушался меня. И вот, когда мы с Бережковым, оба в мыле, поскольку провести все это нервное мероприятие гладко стоило нам немалых сил, ушли со сцены, к нам навстречу с распростертыми объятьями бросился тот же Евтушенко. Он с жаром жал наши руки, он

сиял доброжелательностью. Думаю: он и пришел лишь затем, чтобы убедиться, что давние обвинения против него в связи с именем Лени не прозвучат. А — кто знает — может быть, его мучила совесть...

И еще одна сценка. Однажды, тоже году в 86-87-ом, я привел известную актрису Татьяну Лаврову (она тогда репетировала во МХАТе в моей пьесе «Без зеркал»), которой в свое время Андрей Вознесенский посвятил многие сотни строк, в частности все лирические пассажи в поэме «Авось» (я тебя никогда на забуду, я тебя никогда не увижу и т. п.), — на день рождения знаменитой некогда литературной персоны в московском подполье Славы Лена, — и о нем мы тоже еще поговорим. И в какой-то момент попросил того же Дудинского почитать Губанова, поскольку моя спутница слышала это имя только от меня.

Игорь знал наизусть чуть не каждое стихотворение Лени, но этого мало: он изумительно имитировал авторскую манеру декламации, от которой в свое время, когда Губанов читал со сцены, у женщин в зале мигом увлажнялись глаза и трусы. Когда Игорь закончил, потрясенная актриса прошептала: «Так вот кому, оказывается, подражает Андрюша»... Я все это к тому, что ленины обвинения строились не на одной лишь мании величия и паранойе, но имели под собой некоторые основания...

Мы познакомились с Губановым в начале 70-х, когда его скандальная московская слава почти уж сошла на нет. Кто меня с ним свел — убей не помню, может быть, «мамочка» Лорик, может — тот же Володя Бережков, а, может, поэт, забытый нынче, Саша Алшутов,

написавший в свое время слова песни «Соловые и серые, каурые и рыжие, проходит кавалерия, вы слышите, вы слышите», после чего стал желанным гостем во всех московских второразрядных кабаках, где эту песню исполняли. Тогда, только ступив на скользкую дорожку, я так закружился в новом для меня богемном кругу, что лица мелькали калейдоскопически, и восстановить последовательность ежедневных новых встреч и знакомств теперь решительно невозможно.

Так или иначе, но мы быстро с Леней сошлись. Это было тем более легко, что, как это и случается рано или поздно с тяжело пьющими людьми, он был рад новым людям, еще не успевшим устать от его пьяных эскапад; к тому ж, как свойственно лирическим поэтам, он был образцовый эгоцентрик, и было бы преувеличением сказать, что он полюбил меня, как младшего брата по русской словесности, за дар, но, скорее, за некоторую культурку и за то, что я был — по его меркам, конечно — из обеспеченной семьи, и у меня всегда можно было стрельнуть денег и на выпивку, и на опохмелку. Кроме того, я искренне восхищался им, поддерживая тем самым его славу, так сказать, последним эшелонам, потому что даже в тех домах, где он блистал когда-то, его уж перестали принимать.

Так, во всяком случае, мне казалось, поскольку Леня не был сентиментален в жизни. Но пару эпизодов, свидетельствующих об искренне теплом его расположении ко мне, все же можно припомнить. Как-то он пришел в восторг от моего рассказа под названием Как дела, кисюля? все из-того же цикла — он услышал его в какой-то компании, где я читал, — и стал говорить, что

неприменно познакомит меня с тем-то и тем-то, и действительно не забыл это сделать, — скажем, ввел меня в круг Вадика Делоне. Впрочем, Леня бывал великодушен.

За пару лет до смерти он позвонил и настойчиво просил меня приехать. Понимая, что речь, скорее всего, идет об опохмелке, я, тем не менее, поехал в Кунцево. К моему удивлению он был решительно трезв и собран. Оказалось, он только что закончил правку одного из своих последних циклов (он писал «сборниками», и так это потом и опубликовалось — «Серый конь», «Волчьи ягоды», «Дуэль с Родиной» и др.) и попросил меня сравнить варианты. Когда я просмотрел правленную рукопись, впечатление у меня осталось самое тяжелое: он безбожно портил собственные стихи, «шлифуя» их, делая «грамотнее», глаже — и мертвее. По-видимому, он еще надеялся хоть что-то опубликовать в СССР, подобно тому как Высоцкий-бард до последнего дня наивно уповал на официальное признание. Поэтому позже, уже в не подцензурные времена, когда составители советовались со мною, какие варианты лениных стихов печатать, я настаивал на ранних, так сказать, оригинальных...

Но все это было позже. К моменту же нашего знакомства о его прежних триумфах — и поэтических, и донжуанских — я уж был очень наслышан. И о том, как его принимал на даче опальный Хрущев, и как за ним бегали иностранные корреспонденты, и как он спал с самыми блестящими дамами Москвы... Тогда ведь еще были времена, когда русские женщины в массовом порядке губы, падая, давали, прощя — раздвигали ноги, а подчас нешуточно влюблялись и служили, — за талант и

непризнанность,— но теперь эта порода экзальтированных поклонниц как-то враз и решительно перевелась в окололитературных кругах, уйдя по-видимому в сферу большого шоу-бизнеса; и, возможно, лишь где-нибудь в глубинке библиотекаряши или учительницы еще проливают слезы над текстами не востребованных суровой эпохой первоначального накопления капитала поэтических талантов и бегают по утрам им за четвертинкой.

Но все это к слову. Леня действительно пользовался огромным успехом у дам, при этом на записного совратителя он был решительно непохож: коренастый, с физиономией самой пролетарской, с носом уточкой и страшно губастый — оправдывая фамилию. Да и его любовная лирика была скорее реестром неудач, чем списком побед:

Я приеду к тебе как-то пьяненький,
Завалюсь во двор, буду стекла бить,
А в кармане моем кулек пряников
Да потом еще что жевать да пить.
Выходи, скажу, девка подлая,
Говорить хочу всё что на сердце.
А она в ответ: а ты — не подлинный,
А ты вали к другой, не то хватится...
Я иду домой, словно в озере
Карасем плыву из мошны,
Сколько девок мы к черту бросили,
Скольким сами мы не нужны...

Кстати, Андрей Битов цитировал это и несколько других лениных стихов из цикла «Серый конь» в повести середины 70-х «Улетающий Монахов», попутно рисуя и

портрет самого автора, названного им, понятно, Ленечкой. И эти контрабандные строки, принадлежавшие как бы битовскому придуманному персонажу, приплюсовались к тем двенадцати, и стали как бы второй лениной прижизненной публикацией.

Вот еще из Лени:

Этой женщине с кожей тоненькой,
Этой женщине из изгнания
Будет гроб стоять в пятом томике
Неизвестного мне издания...

Какой контраст с самодовольным в любовной лирике Есениным, уставшим от женского обожания. И какая свобода и подлинность интонации, совершенно немислимая в официальной советской поэзии брежневских лет. Да что в поэзии — даже в повседневной лексике.

Мне недаром пришелся на язык Есенин. В своем жизнеустройстве, если к Ленечке приложимо это слово, скажем, в жизнепотоке, он продолжал линию Есенина и Павла Васильева, а читая о Поплавском и записные книжки последнего, недавно у нас изданные, полагаю, — что и этого парижского эмигрантского гения, хотя Ляня вряд ли о нем что-нибудь внятное знал. Кажется, во всех этих случаях — по крайней мере, в первых двух — роковую роль сыграло то обстоятельство, что чрезмерный накал духовных сил не имел врожденного культурного обеспечения, наследственной привычки к интеллектуальному труду. Это перенапряжение неотвратимо делало из этих одареннейших от природы людей тяжелых психопатов. Алкоголь — самое доступное лекарство снимать этот конфликт дара и рода, хотя психопатию он только усугубляет. Ведь дворянские поэты не мень-

шего внутреннего горения никак не спивались, не вешались и не резали себе вен. А, скажем, выписанный Некрасовым с Урала полуграмотный романист Решетников, — из старообрядцев, то есть никак не обремененный алкогольной наследственностью, — после первых же гонораров от «Современника» спился в несколько месяцев и умер точно как Эдгар По — заснув спяну на морозе на скамейке невской набережной и подхватив инфлюэнцу. Таких разночинных судеб русская культура знает множество: Гаршин, Помяловский, Николай Успенский, Саврасов, Мусоргский, ряд можно продолжать долго. И если уж давать советы Богу, то следует заметить, что, раздавая таланты и не веля их зарывать в землю, ему неплохо было бы поточнее сверять адреса...

Впрочем, знавшим и любившим Леню ближе социальная, так сказать, мотивация его пьяного конца. Действительно, очень рано почувствовав себя отмеченным Богом и по юношеской наивности полагая, что его избранность должна с неизбежностью приводить в восхищение окружающих (что, кстати, и происходило со многими, в основном с женщинами, конечно), он был совершенно не готов к игре на реальном литературном поле. Он ничего не ведал о всегда сложном раскладе в литературной среде, а также о том простом факте, что, даже если люди весьма талантливы, это отнюдь не с необходимостью делает их благородными и бескорыстными. А уж советская словесность тех лет просто кишела завистливыми бездарностями и подлецами, на фоне которых те же Вознесенский с Евтушенко были ге-

ниями самой чистой воды и рыцарями без страха и упрека.

К тому ж, кажется, как и положено неофиту-романтику, Леня верил в братство поэтов, но совершенно не понимал, что такое реальная литературная — политическую он, как и все люди богемы тогда, конечно же, презирал — конъюнктура. Ему и в голову никогда бы не пришло, что в тогдашних условиях он мог бы сыграть, скажем, на своем происхождении. А оно было, кстати, по советским меркам безупречным в квадрате. Разумеется, он был безо всяких подозрений русским. Отец его был рабочий, как и старший брат, причем, думаю, из сознательных, примерных, партийных и мало-пьющих. Мать же по неисповедимости человеческих судеб служила в ОВИРе, причем в немалом чине, организации крайне одиозной и весьма близкой, разумеется, к органам. Надо сказать, что кроме материнского — не отчего, мать полностью верховодила в семье — другого дома он никогда не знал и так и скончался в отведенной ему с юности комнатке. Но — повторяю — если б ему дали в Союзе писателей анкету, то графу происхождение он, скорее всего, заполнил бы так — из русских поэтов.

К тому ж, он никогда не смог бы сочинить ни строки — для власти, каковое задание с трудом и весьма посредственно — и власти достало чутья эту натужность оценить — осилили даже Мандельштам и Ахматова, не говоря уж о любимом Ленечкой Маяковском. Для этого Губанову просто не хватило бы житейской сообразительности. Но даже если предположить на миг, что судьба его в советском официозе все же, вопреки

невероятному, сложилась бы, то, — и это представляется мне совершенно неотвратимым, — он все равно точно также спился бы, как прижизненный советский классик Твардовский, скажем, а его поклонники и доброжелатели сказали бы, что он не смог вынести атмосферы в Союзе писателей или что-нибудь в этом роде.

На самом деле Лене на роду было написано быть проклятым поэтом со всеми сопутствующими этому алкогольными эксцессами; и уже по одному этому — остаться в России во втором ряду, что он, кстати, остро понимал и что было его незаживающей травмой. Он встал в совершенно органическую для него позу бунтаря уже в семнадцать лет, организовав и возглавив СМОГ — Самое Молодое Общество Гениев. Чтобы дать понятие о, так сказать, эстетических принципах СМОГа достаточно нарисовать такую картинку: на поэтическом вечере в МГУ году в 1964-ом пятнадцатилетняя адепт общества Юля Вишневская, чуть не в школьной форме, декламировала стих «Письмо Андре Жиду», заканчивавшееся приблизительно так: вы самый обыкновенный педераст. Здесь более всего забавно, что содержание стиха полностью соответствовало официальной установке по поводу оскорбившего некогда СССР французского автора, и если б не фразеология, его вполне можно было бы печатать в «Пионерской правде». В идеологическом смысле столь же невинны были стихи и других членов СМОГа. Лучшее, как считалось, стихотворение Володи Алейникова начиналось так: Когда в провинции болеют тополя...

А Володя Батшев писал:

А я иду чуть-чуть седой,

С утра зачем-то выпивши,
На встречу со своей бедой,
В глаза ее не видевши...

Согласитесь, эти элегии много невиннее, скажем, стиха «Бьют женщину» Вознесенского, неверно трактующего тему повседневного быта советской творческой интеллигенции. Или таких безнравственных виршей Евтушенко, печатавшихся в те же годы:

В ЦПКиО, в ЦПКиО,
Мини еще не минированном,
Мысль одна — подцепить бы кого
В молодости доминировала...
Или, наконец, Беллино, тоже не слишком скромное:
Я так же сбрасываю платье,
Как море сбрасывает пену...

В случае со СМОГистами дело было не в художественном, а тем более — идеологическом, бунте — на футуристов они не тянули, — но в социальном эпатаже, хотя они и выходили как-то на демонстрацию под эстетическим лозунгом «Лишим девственности социалистический реализм». Во-первых, власти пуще всего боялись любых «организаций», а этим юным дарованиям пришла в голову самоубийственная в советские времена мысль организовать в какое-то самостийное «общество» — помимо санкционированных властями. Да и формы их «борьбы», думается, приводили в ярость КГБ: демонстрации, публичные коллективные камлания, манифесты, распространяемые в виде листовок. Даже если бы они посвятили свои усилия, скажем, пропаганде лозунга «Турист, свой край исследуй, изучай», то и тогда были бы на сильном подозрении и рано или поздно по-

платились бы за излишнюю инициативность. А тут — литература, область сугубо идеологическая...

Не менее интересно и то, как долго власти этих самых СМОГистов терпели. Еще не было Чехословакии, расставившей все по своим местам. Хотя прошел уж процесс Синявского-Даниэля, но в непреложность его итогов как бы еще не верилось. Не было прецедентов репрессий в отношении юношества, сочинявшего вполне невинные стишата (на недолгом отрезке хрущевской оттепели, конечно). Правда, уже была разогнана поэтическая вольница «у Маяка» — свободные чтения стихов у памятника Маяковскому, и сурово покаран самиздатский «Синтаксис». Но, во-первых, «у Маяка» звучали такие, скажем, строки:

В этом мире насилий,
в этом мире растлений
Если ты не расстрелян —
Значит душу твою растлили...

Во-вторых, организация самостийного журнала было уже уголовно наказуемым деянием.

С этими же «смогистами», мальчиками и девочками, вчерашними школьниками, играющими «в самых молодых гениев», власти, по-видимому, долго не знали — как поступить. Дело решил, кажется, вечер СМОГИ-Стов, организованный в Союзе писателей Генрихом Сапгиром. Это был весьма непродуманный ход, ибо писательская общественность куда более рьяно, чем даже «ястребы» из КГБ, блюла идеологическую невинность. Позже мне самому пришлось убедиться, как презрительно относились офицеры КГБ из соответствующего отдела (кажется, это у них называлось 5-ым Управлени-

ем) к писательской публике, по подлости доносов друг на друга превосходившей, видно, все прочие слои населения — все-таки, художники слова.

После этого злополучного братания «молодых гениев» со старшими товарищами Генриха выставили из Союза. Леню посадили в психушку, откуда, впрочем, его скоро забрала мама. И лишь один Володя Батшев действительно пострадал — его отправили в административную ссылку в Красноярский край «за тунеядство», помните — «на встречу со своей бедой». На этом СМОГ прекратил существование.

Тут-то по-видимому и началась самая блестящая полоса лениной карьеры непризнанного гения. Как мне рассказывали, он был буквально нарасхват. Стихи в ту пору из него лились рекой — причем почти гениальные чередовались с почти графоманией. Он сильно в те годы, так сказать, имажиниствовал (в юности он был проще и органичнее):

На голове моей накопились яблоки,
Вишневое пенье не гробит старух,
И на ночь мне привели боярыню,
И Славу подали к утреннему столу...

Кстати сказать, мотивы победительного шествия по жизни парвеню и незаконной обделенности славой были у Лени в ту пору едва ли не сквозными. Позже, к несчастью у него возникли и ноты политически-диссидентские, делавшие его стихи просто ходульными. Скажем, уже в 70-ые он громогласно читал на публике поэмы «Дуэль с Родиной» или «Золотая фреска Вадиму Делоне», объявляя перед началом чтения: «теперь стукачей прошу выйти из зала», — а в его публичном пове-

дении явно стали проскальзывать нотки дурного вкуса. Он потерял грань между поэтическим эпатажем и банальным хулиганством, даже хуже — хамством (впрочем, он всегда в таких случаях бывал пьян). Но тогда, в конце 60-х он писал дивную лирику. Скажем, стихи, посвященные бывшей жене Алене Башиловой:

Я не мечтаю о былом,
Мои воспоминанья — лом,
Но я себя на том ловлю,
Что до сих пор тебя люблю...

(и последние две строки Вознесенский ловко приспособил в своей то ли Аминь, то ль Авось).

И дальше:

Но нет тебя и нет тебя,
Как нацарапала Марина.
Меня графины теребят,
За мной ухаживают вина...
Заканчивается же таким аккордом:
Кори звезду иль не кори,
Любовник сдох. Пора бы мужу
Дать телеграмму, что в крови
Нашли заплаканную Музу.

Но, так или иначе, даже на неудачных его стихах, на всем, что слетало с его уст, был налет какого-то божественного, экстатического вдохновения, как это бывало у пророчествовавших юродивых на Руси.

Впрочем, он и был юродивым, — во всяком случае, ко времени, когда мы познакомились, отлично справлялся с этим амплуа. Хорошо помню, как он исподволь навязал мне роль едва ли не доктора при нем: я должен был отнимать у него очередную рюмку, он

при этом слюняво канючил: «ну, Колька, ну дай еще выпить». И все это на публике, конечно. Он являлся ко мне с какими-то истерическими девицами, которых неизменно представлял «женами» — на распутинский, так сказать, манер. Помнится, одна из них пыталась повеситься в родительской ванной, причем дело происходило днем. Моя перепуганная мать влетела в комнату и принялась увещевать Леню в том смысле, что надо успокоить девушку. На что Леня философски заметил, что, мол, она всякий день то режет вены, то вешается, и ему весьма интересно, когда она для разнообразия, скажем, утопится. Наконец, я помню, как однажды привез Леню к Эдмунду Иодковскому на одно из заседаний «литобъединения», которые тот с уже несвоевременным рвением продолжал проводить еженедельно уже не в памятном красном уголке, а на своей квартире, — стояло в конюшне Станиславского он давно уж поменял на более комфортабельное жилье.

У этого мероприятия был свой ритуал, включавший, прежде чем начнется флирт и пьянка, прослушивание какого-нибудь графоманского бреда очередного, открытого Эдмундом дарования. Леня и без того не выносил, когда внимание компании не было сосредоточено на его персоне, а тут еще как на грех читалось и во все нечто запредельное. И в какой-то момент Леня, до того терпевший и мрачно сосавший свой портвейн, вскочил в ботинках на диван, хлопнул об пол стакан и принялся читать собственные стихи в своей обычной манере — страшно воя, гнусава и шаманя. И тут Эдик, который в свое время тоже немало носился с «молодыми гениями», но теперь уж к ним поостыл, пожалев,

видно, диван и посуду, возмущился и довольно веско — на правах хозяина — распорядился, чтобы я забирал Леню, уже в дым пьяного, ко всем чертям, а что он не намерен терпеть его выходки. Я был оскорблен за Леню и возмущен поведением Эдмунда, покусившегося ради сохранности паршивого продавленного дивана — на святое, на гениальный леничкин распев и вдохновение. Я сгрэб сопротивлявшегося Ленечку, порывавшегося «дать в морду мещанину» (кстати, ростом он доходил Эдику хорошо если до подбородка), кое-как вывел на улицу, уговорил таксиста все-таки посадить нас, привез к себе. Проснулся Ленечка в моей комнате на раскладушке в очень застенчивом настроении. Оказалось, что ночью он намочил свою постель, и теперь просил не гнать его, пока не высохнут брюки... Моя либеральнейшая матушка, после его ухода, попросила меня больше не приводить его — и уж во всяком случае не оставлять ночевать...

Итак, я позвонил Лене, и мы с Женей Харитоновым тут же получили приглашение срочно приехать. Мы застали его относительно трезвым, но в состоянии самом жалком. Был будний день, все родные — на работе, и Леня провел нас в свою комнату, оставив открытой дверь, — обычно он ее плотно прикрывал, что не мешало его мамаше то и дело соваться к нему, проверяя, не пьет ли. Это были весьма неприятные сцены, поскольку Леня по-мальчишечьи визжал на нее и чуть не плакал от досады и стыда перед приятелями. Женя принялся говорить ему комплименты, рассказывать, как некогда в общежитии ВГИКа его стихи ходили по рукам. Леня слушал вполуха, было видно, что ему все это абсо-

лютно неинтересно, и постепенно стал проявлять признаки нетерпения, а там и настоящей тревоги. Свидание двух творцов явно не клеилось. Тогда я предложил пройтись по воздуху, благо был май, теплынь и благодать. Леня отозвался с поспешностью. Женя же, едва мы оказались на улице, решил откланяться. Естественно, мы должны были уехать вместе. Леня взглянул на меня с совершенным отчаянием. И, наконец, обращаясь к обоим, с трудом молвил:

— А три рубля у вас будет?

Я дал ему три рубля. Схватив бумажку, Леня, уже отбросив какие-либо политесы, второпях кивнул нам, и стал удаляться скомканной торопливой походкой, даже не подав на прощание руки.

Он шел прямо по направлению к магазину, и вдруг замахал, затрепетал, увидев кого-то и кого-то приветствуя. И нам было видно, как от стены магазина отделилась и выросла такая же помятая фигурка — человек до того, видно, сидел на корточках, — и тоже радостно подалась Лене навстречу. Я навсегда запомнил фразу, которую выговорил Женя одними губами, словно про себя:

— Лучше бы я этого не видел...

Это была наша последняя встреча с Ленечкой.

Известие о его смерти в августе 1983 года я получил так поздно, что уже не успевал на кладбище — партийная его мамаша, во-первых, запретила его, верующего, отпевать, во-вторых, хотела всячески ограничить круг друзей на поминках: не столько даже из экономии, сколько полагая простодушно, что это именно дурная компания таких же, как сам, Леня бедолаг от словесно-

сти, которых всячески унижали и гнали за их дар, а не волчьа власть, которой она так ревностно служила, сгубила ее сына.

Об этих поминках тяжело вспоминать. Царил на них тот чопорный мещанский дух, который дает соединение в одной семье пролетарскости и партийности. Помню, старший брат Лени, рабочий, странно крупного размера, если учесть низкорослость младшего, тяжело сложив на столе кулаки, смотрел на нас с Бережковым безо всякого выражения — так смотрят на неопасные, но ядовитые образования, скажем, на поганки в лесу. Никакой чрезмерной скорби не было; я поймал себя на мысли, что эти простые люди и в печали втайне испытывают облегчение от того, что ленин проклятый дар, сделавший и их мирную жизнь полной нескладицы и тревоги, наконец, иссяк, мятежный дух его угомонился, а тело прилично погребено — как положено.

Выяснились и детали его гибели. Когда Леня умер, родители его несколько дней как были на своем садовом участке, — брат давно жил отдельно. Они нашли сына, сидящим на диване, откинувшись. Судя по количеству немытой посуды и пустых бутылок, в квартире пили несколько дней не меньше пяти человек. Умер Ленечка от остановки сердца, причем его неведомые сотрапезники никогда не дали о себе знать. То ли они, когда ему стало плохо, сбежали от испуга. То ли покинули его раньше, и умер он в одиночестве и пьяном забытьи. Во всяком случае, мать, уже подходя к квартире, услышала запах разложения, — стояла густая августовская жара.

Похоронили Леню Губанова на Хованском кладбище, насыпали могильный холмик и воткнули табличку с номером... Я никогда не был на его могиле. Я вообще не любитель этого языческого жанра. Достаточно того, что я его помню.

ГЛАВА VI

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Моя сестра, учась в классе в седьмом, сидела за одной партой с товаркой по имени Тереза. А дедушка у Терезы был членом Союза писателей. Не то что бы известным сочинителем, он даже вовсе не был писатель в посконном смысле слова, но — подрабатывал пером жирные довески к профессорскому жалованью. Фамилия его была Западов. Кстати, фамилия хорошая, его дед был из дореволюционных церковных иерархов, чуть не епископом русского Севера, — и дворянин, конечно.

Александр Васильевич Западов — его помнят многие, кто учился на факультете журналистики МГУ, где он долгие годы читал лекции по истории русской литературы — был знатоком генеалогии русского дворянства XVIII века; но, поскольку подобная специализация корму дать не могла, Западов стал литературоведом широкого профиля и, что важно, многолетним внутренним рецензентом — была тогда такая профессия, кормив-

шая когда-то и вашего покорного слугу, а нынче упраздненная за ненадобностью — издательства Советский писатель», в котором выпускал и собственного сочинения исторические романы. Произведения эти были тяжеломерно писанными и пресными, даром что из галантного века Екатерины, но с точностью часов выходили раз в два года и смачно оплачивались — ведь платили-то тогда не с продаж, а от объема и тиража, пусть и не разошедшегося, — и жило семейство в достатке. Помнится как-то, уже в пору тесных наших отношений, мы ехали с профессором в такси по Калининскому — на Кузнецкий, в «Книжную лавку писателей», забирать авторские экземпляры его очередного опуса, — и старик низко поклонился задней части издательского здания, фасадом глядевшего на Воровского, произнеся спасибо, кормилец, — он вообще был склонен к невинному цинизму клоунаде... Короче, на писательской кухне Западов знал все ходы и выходы.

Случилось так, что мои ранние непечатные рассказы, те самые, что читал я в красном уголке в Сокольниках, а потом по богемным сборищам, оказались у Западова в руках, — при посредничестве подружек-семиклассниц, вероятно. И жена Западова Галина (приблизительный перевод армянского Гаяне) Христофорова мне рассказывала позже за чаем, что Сашенька, махнув весь цикл рассказов разом, долго потом расхаживал в волнении по кабинету...

Я был призван. Западов показался мне обаятельным породистым пожилым господином с дворянским питерски-собачьим лицом, а давненькая обстановка квартиры на Кутузовском, в том доме, где некогда рас-

полагался магазин «Вологодское масло», тоже представилась вполне барской. Меня пригласили в кабинет, полутемный, уставленный до потолка книгами в шведских шкафах, с бронзовоногой лампой под зеленым колпаком на зеленого же сукна поверхности огромного письменного стола, и спросил — много ли у меня написано? Кстати, ровно такой же вопрос чуть позже задавал мне умнейший Даниил Семенович Данин, которому я тоже показывал свои рассказы. Тогда я ответил точно, мне казалось, что написано много, к моему удивлению Данин веско посоветовал: пишите больше. Помнится, Даниил Семенович по прочтении спросил и еще:

— Вас когда-нибудь прижигали каленым железом?
— Несколько обескураженный, я признался, что нет. — Значит, вы не знаете этого ощущения. Но пишите же: боль была такая, как если бы ее лицо прижгли каленым железом...

Но этот данинский урок я вспомнил ни к селу ни к городу, Западова такие пустяки не интересовали, он был человек практический. Мне было чуть больше двадцати, и я тогда понятия не имел, что значит много написано, к слову — не знаю и сейчас, наверное, томов эдак двадцать. Кстати, много лет спустя Василий Павлович Аксенов тоже делился со мною: нужно быть графоманом, чтоб осталось после тебя написанного как можно больше, собрание сочинений во многих томах. И приводил в пример, как некогда в юности испытал трепет, увидев на библиотечной полке собрания Жюль Верна, что ли.

Но вернемся в те ранние глупые годы. Тогда в моих писаниях был один объяснимый парадокс: помимо яв-

но не подцензурных и довольно жестких, не без натурализма, рассказов я на голубом глазу параллельно сочинял какие-то сопли в духе журнала «Юность» и того же раннего Аксенова, почти не осознавая нестыковки; по-видимому, уроки Якобсона и примеры печатавшегося вокруг подсознательно откладывались и до поры мирно сосуществовали на разных уровнях в моей пустой юной голове... «Впрочем, это и не важно,— задумчиво продолжил Западов, — можно положить туда и пачку белой бумаги. Главное, молодой человек, занять очередь».

То, о чем говорил со мною тогда Западов, казалось мне несусветным: он совершенно серьезно упомянул издательство «Советский писатель», где, по его мнению, у меня вполне могла бы выйти первая книга.

Сегодня трудно объяснить, сколь невероятно дерзновенно звучало в те годы само подобное предположение. Во-первых, именно это издательство было тогда главным местом, где издавались главные поэты, беллетристы, критики из писательского Союза; чтобы попасть в план, маститые совписы стояли в очереди годами, а в дни, когда этот самый план утверждался, издательство жило в форменной осаде, причем приезжие из дальних союзных республик только что не разбивали в сквере перед зданием шатры; позже в издательстве в кабинете заведующей редакцией прозы некоей мадам Вилковой я бывал свидетелем истерик вдов и сердечных приступов пожилых сочинителей, выпавших из обоймы и оттесненных от корыта; разумеется, в издательстве принимали и подношения, а по выходу книги некоторые беллетристы почитали за честь отстегнуть

редактору до половины гонорара. Многие этого рода подробности я узнал лишь позже, но и тогда было ясно, что субчика вроде меня к этому святая святых распределения писательских яств не могут подпустить и на выстрел. Не говоря уж о том, что к тому времени я еще ни строки не опубликовал, даже до статей в «Юном технике» дело еще не дошло...

И тут я припомнил свою первую публикацию. Дело было так: много раз помянутый Эдмунд Иодковский еще во времена симоновского подвала редактировал многотиражку завода по изготовлению какой-то гидравлики; и предложил мне написать репортаж из цехов. Ни до, ни после ни на каком заводе я не был, и меня просто потряс шум, скрежет, мрачность атмосферы, серость лиц рабочих. Страшную жалость вызвал во мне и вид рук работниц, трудившихся на огромных страшных прессах: половины пальцев не было вовсе, другие искорежены. Но я написал нечто в духе ранних синемблужников: мол, слушайте музыку производства. К тому ж, в заводском дворе стоял гроб с телом рабочего, недавно помершего от перепоя, и за пять минут во время обеденного перерыва была проведена панихида. Я и это вставил: мол, товарищи провожают друга в последний путь. Эдик всю эту ахинею набрал, напечатал, а потом — таков был порядок — понес визировать в партком завода. Вышел скандал: прочтя мое сочинение, парторг пришел в ужас и ярость и повелел весь готовый тираж — сжечь. На том же заводском дворе. Но Эдик успел выхватить из огня один так сказать авторский экземпляр для меня, к сожалению, за пертурбациями судьбы, обы-

сками и переездами, он затерялся. Так или иначе, дебют вышел символическим...

Не удержаться от добавления из года 2008-го, когда я готовлю эту книгу для переиздания. История, любя простую симметрию, как мы знаем, склонна повторяться. Восемь лет назад мой давнишний приятель еще со времен Ермоловского театра, где он был директором, Стас Каракаш, предложил нескольким авторам — поэтам Салимону и Парщикову, мне, еще паре прозаиков — собрать книжки, оформить которые должны будут постоянные участники выставок в Манеже, которым он тогда заведовал. Я сделал книжку с обожаемой своей многолетней подругой художницей Аней Бирштейн, назвав ее Выбранные картинки, выбранные подписи (и эту книжку вы можете сегодня найти в БПП — ББП). Всю серию, которая выходила под присмотром моего давнего друга Владимира Салимона, решено было так и маркировать — Манеж. И вот тираж нашей с Аней книжки в количестве 500 экземпляров был отпечатан, перевезен в Манеж и сложен в где-то в подсобке. Помню, была пятница, вторая половина дня, я звоню Стасу и говорю, что сейчас заеду и возьму пяток пачек. — Какие вы, писатели, нетерпеливые, — ответил Каракаш, — кладовщица уже уходит, подожди до понедельника... В ночь на воскресенье, день первой инаугурации нового президента, Манеж сгорел. Позже, мой товарищ Вадим Абдрашитов, когда я был у него в гостях, предложил показать один раритет, но с условием, что я не буду у него эту вещь выпрашивать. Я изумился, что он мог предположить во мне такие поползновения. И Вадик предъявил заляпанный и грязный томик. Оказалось, ему, как

режиссеру, была любопытна фактура пожарища, и воскресным утром он поехал на Манежную площадь. Она была усыпана грязными и мокрыми экземплярами моей книжки, выброшенными на асфальт мощными струями пожарных шлангов во время тушения...

Но вернемся к Западову: кто-кто, а он-то знал наизусть всю литературную механику и закулистье. Дело в том, что в издательстве пусть с явной неохотой, по разнарядке Союза и — выше — идеологического отдела ЦК, время от времени давали дорогу молодым, готовя смену. Предполагалось, разумеется, что эта самая смена будет продолжать дело отцов, и зачастую буквально так и было — в план удавалось вставить сочинения детей тех, кто был у кормушки. У Западова, мне повезло, не было детей подходящего возраста и склада, — его единственная дочь от другого, не армянского, брака жила в Ленинграде и была, на мое счастье, ученым-византологом, — и в некотором, беллетристическом, смысле он решил меня усыновить.

Сказано — сделано: я собрал все, что у меня было не крамольного, начиная с сочинений старшего школьного возраста, получилось страниц двести пятьдесят, и, потев от страха, что выгонят взащей, понес в издательство; но на меня там глянули без интереса, и очкастая мрачная секретарша в мини юбке, открывавшей в полной красе ее стройные кобыльей силы ноги и ляжки, и столь неприступного вида, что тут же делался ясен род ее основных в издательстве занятий, скоренько мою папочку зарегистрировала и положила на полку.

Наставление Западова было таково: поскольку до выхода книги пройдет лет пять, не меньше, я успею со-

чинить новые вещи и в порядке доработки подменяю ими то, что мне самому кажется наиболее слабым... К слову сказать, так оно и было, я действительно за пять лет практически составил книжку заново, и она вышла-таки в 77-ом, когда мне стукнуло аж двадцать шесть, возраст, в котором уж были написаны их авторами «Вертер», «Герой нашего времени», «Фиеста», «Бундерброки». Тем не менее, я оказался самым молодым автором издательства за многие предыдущие годы, сыном полка, так сказать, вот что значило в те наши годы вовремя занять очередь...

Но я опять забегаю вперед.

Пока книга двигалась, то есть: рецензировалась — самим Западковым и неким Жуковым, о которого потом я больно споткнулся; вставала в план (именно так было принято выражаться, что косвенно отражало тот факт, что книги, оторвавшись от творцов, в советские времена начинали жить собственной жизнью уже на стадии рукописи), так вот, вставала в план, чтобы потом, рискуя собой, в этом самом плане всеми силами удержаться, ибо избранных было всегда меньше званых; наконец, пройдя через горнило внутри редакционных испытаний и нешуточной брани, книжка оказывалась в руках кого-либо из редакторов, и немаловажно было — в чьих именно, поскольку редактор вовсе не рвался ее читать. Но я все эти страсти наблюдал, как из партера — мой ангел-хранитель устраивал все за меня, хоть мне и было предписано раз в месяц аккуратно представлять перед очами заведующей редакцией прозы. Но, кажется, даже у такого тактика и стратега, каким был Западков, изредка бывали сбои. И вот заведующая Вилкова, дама лет под

шестьдесят, кривоглазая, как сватья Бабариха, всегда принимавшая меня с шуточками, иногда довольно похабного сорта, однажды встретила меня серьезно. Она внимательно меня оглядела и, кажется, осталась довольна:

— Слушай, голубчик, спустись-ка на второй этаж, иди налево, найди кабинет главного редактора издательства Карповой. Постучись в дверь, войди и просто стой. Ничего не делай и не говори. Стой. Если спросит, как тебя зовут — скажи. И все.

Я, подивившись, сделал, как было велено: постучал, вошел и встал. От стола подняла на меня глаза женщина вилковских лет, гримза в очках, похожая на заведующую отделом кадров. Она довольно долго меня разглядывала, потом молвила:

— Вы Климонтович?

Я согласился.

— Можете идти, — сказала она очень мягко, что до крайности не вязалось с ее наружностью.

Я пошел. Когда я поднялся к Вилковой, та сияла: — Умница, все отлично, она уже звонила, дело сделано...

У этого эпизода было не менее комичное продолжение: когда книга наконец-то вышла, с этой самой Карповой я столкнулся как-то на издательской лестнице.

— Хорошая получилась книга, — заметила она, — поздравляю. — И добавила, грустно на меня глядя: — Вот только портрет неудачный...

И вот, наконец, дошло до знакомства с моим будущим редактором. Звался он Игорь Х. Это был спитой до прозрачной синевы, до своего рода даже обаяния,

вечно простуженный, кашлявший от непрерывного «Беломора», затрапезно одетый человек, не похожий по типу ни на один из мне известных. Это уж только потом я понял, что так и выглядит истинный, типичный, средний советский писатель; я уж упоминал, что само членство в Союзе извне писательского сообщества непосвященному казалось очень высоким положением на общественной лестнице; но надо ли говорить, что были члены и члены, и в целом Союз повторял в миниатюре все общественное советское устройство: здесь было свое Политбюро и свои партии, и, конечно, был самый толстый слой — середняков, в среде писателей являвшийся примерно тем же, чем непомерно огромное сословие так называвшихся ИТР в самом советском обществе. Так вот, этот самый Игорь Х. был страшно похож на стареющего — за сорок — младшего научного сотрудника заштатного НИИ, которому уж никогда не защитить диссертацию.

Сколько ж мы с ним выпили, пока рукопись вяло двигалась в сторону типографии! Дело даже не в том, что Игорь был записной пьяница; и не в том, что и я в свою очередь с удовольствием попивал водочку в пестром зале Писательского дома на легитимных основаниях — это раньше меня отсюда нещадно турил администратор Шапиро, гроза околелитературной шпаны, нынче же я восседал со своим редактором в полном своем праве. Просто-напросто других дел у нас с ним не было: Игорь сразу же объявил, что не поправит в моей рукописи ни знака, я даже не знаю — читал ли он ее вообще; это был отчасти его классовый протест против того, что я в моем сомнительном возрасте печатался явно по

блату, а не проходил тернистого пути, каким влачился некогда он сам и многие-многие другие его друзья и коллеги. Но при том, что в его глазах я был, разумеется, выскочка, кем-то вроде секретарского сынка, относился он ко мне вполне добродушно... Сначала я его угощал. Потом он меня. Но мои резервы были весьма скудны, — я уже трудился младшим литсотрудником в молодежном тонком журнале, о чем уж докладывал, но получал деньги символические; его ресурсы были, быть может, еще более скудны: у него не работала жена, были две дочери на выданье, а получал он как советский инженер средней руки. И вот, помнится, сидели мы сидели, все пропито, и он сказал: ладно, поехали, сейчас добудем денег. Взяли такси, меня не удивило, что направились мы в сторону Аэропорта, — там и сейчас расположено розовое гетто, как называли московские островки писательские аэропортовские кооперативы, так выразительно описанные Войновичем; я решил, что, наверное, Игорь решил разжиться у кого-нибудь из своих имущих авторов. Но когда мы оказались в литфондовой поликлинике, я был заинтригован. Мы уселись перед кабинетом главного врача — того не было на месте, и нас попросили подождать. Игорь был молчалив и сосредоточен. И вот главврач явился. Это был высокий красавец-еврей с великолепной седой гривой, донельзя холеный, с золотыми перстнями на ухоженных пальцах и ногтями с маникюром. Завидев Игоря, он слегка двинул густыми бровями и сделал жест, мол, пожалуйста. Игорь встал, и не могло быть более вопиющего контраста хоть между стоптанными, явно не разлатанными игоревыми башмаками и лакированными

штиблетами главного врача. Они исчезли в кабинете, и уже через минуту Игорь вышел, кивнул мне, мы быстро засквозили к выходу. На улице он шепнул: есть соточка. Забавно, он и сотенку называл соточкой, не путая ее, конечно, с единицей земельного измерения, но по алкогольной привычке... Пока мы добирались обратно в ЦДЛ, Игорь объяснил, что за этого самого врача пишет роман из жизни труженников медицины для журнала Вадима Кожевникова «Знамя». На мой осторожный вопрос, а знает ли об этом Кожевников, он с удивлением сказал: ну, так он же мне и сосватал это заказ. И чтоб я, молокосос, хоть немного был в курсе дел на кухне отечественной словесности, пояснил: найм негров практикуется сплошь и рядом; иногда пишут и за секретарей, они люди занятые, времени у них — лишь проглядеть да подправить; но бывают и иные случаи: скажем, когда директор издательства Люсичевский выбил вот этот самый особняк на Воровского, дом был в ужасном состоянии; Люсичевский вызвал своего главного инженера и сказал: особняк должен быть готов тогда-то; но денег нет! — делай что хочешь, со своей стороны предлагаю, — напиши роман, я издам...

Мало-помалу я стал завсегдаем в доме Западова — на Кутузовском или на переделкинских дачах, которые они каждую зиму снимали то у одной, то у другой вдовы, — вдов тогда до смерти с дач не выселяли, не как в наше демократическое время. И, надо сказать, я поднабрался всяческого литературного хлама, окунувшись в своего рода писательский фольклор.

Дело в том, что Западов со своей женой познакомился на филологическом факультете Ленинградского

университета где-то в начале 30-х. Юная Гаяне была родом из Кисловодска, и помню ее забавный рассказ, как к ним в гимназию пришел выступать Хлебников; но легкомысленным девицам было не до Председателя Земного Шара, они все шушукались и хихикали, пока, наконец, Велемир ни расплакался.

Ее рано выдали замуж за богатого армянина, который не нашел ничего лучше, чем отправить молодую жену учиться — причем куда-нибудь подальше; причиной тому, вероятно, была ее бесплодность, — у нее и с Западным детей не было. Соединившись, молодые супруги оказались в гуще тогдашней пишущей ленинградской молодежи, в компании Ольги Бергольц и Бориса Корнилова, Павла Васильева и Бог весть кого еще. Приведу лишь один из множества услышанных мной анекдотов — лишь потому, что в нем кое-что о времени. На какой-то прием был приглашен Павел Васильев, тогда уж прославившийся поэмой о Черлаке. Поэт скромно стоял у парадной лестницы, мимо шли наверх в залу важные гости. И вот какой-то американец, приняв Васильева за швейцара, сунул ему в руку доллар. Когда американцу объяснили его ошибку, мол, это был один из наших самых поэтов, тот, разумеется, пришел в ужас, рвался извиниться, но Васильева и след простыл. Американец никак не желал утихомириться и страшно волновался за чувства оскорбленного им пиита. Тогда кто-то взялся Васильева разыскать; и вскоре вернул его на прием, найдя в ближайшем торгсине, где поэт на заработанный доллар уж покупал напитки. Что ж, в подобной ситуации многие поступили бы так же, хоть мы с Салимоном, не правда ли, Володя?

Однако историй покруче этой набрался я у Тамары Владимировны Ивановой, у которой Западowymi снималась дача два зимних сезона подряд. Бывшая до Всеволода Иванова женой Бабеля, Тамара Владимировна была мастерица из мастериц устных литературных историй — почище Жени Рейна. Особенно мне запомнилась байка времен эвакуации. Однажды в Алма-Ата, кажется, вместе выступали Ахматова и поэт Луговской, который, несмотря на свою курсантскую что ли венгерку на фронт никак не хотел. Естественно, они сидят в президиуме, Луговской читает первым; был он, как водится, вполпьяна, что никак не мешает, мы знаем, вдохновению; отчитав, он откланялся, но отправился не на свое место в президиуме, а вглубь сцены; Ахматова уж было приготовилась выйти к рампе, как заметила, что весь зал, замерев, смотрит куда-то за ее спину; обернувшись, она обнаружила, что Луговской преспокойненько тут же на сцене мочится в кадку с фикусом.

Другая история уж из наших дней: однажды ночью на ивановскую дачу прибежал Евгений Евтушенко в ужасном виде — рука его была глубоко порезана, он истекал кровью; хозяйка, переполошившись, решила, что на Женю напали разбойники.

— Тамара Владимировна, — возопил тот, — на меня Галя бросилась с ножом!

— Бог мой, почему? — воскликнула хозяйка.

— Галя говорит, что это из-за меня был 37-ой год, — всхлипывал Евтушенко, — а ведь мне тогда не было и четырех лет!..

Поясню, Галя была тогда второй после Ахмадулиной женой Евтушенко, уведенной им у поэта Луконина;

кстати, именно ей посвящено вознесенское «Бьют женщину», — видно хмельной Луконин любил метелить свою половину...

У Западовых почти не бывало людей. Так, пригласит Александр Васильевич свою смазливую аспирантку к обеду, и войдет в репертуар:

— Ганя, где же наши серебряные щипчики для сахара?

— Сашенька, — подыгрывает жена, — у нас отродясь таких не было.

— Ай-яй-яй, — укоризненно качает тот головой, — вот когда я жил с графиней Н. Н., та никогда серебро в ломбард не носила...

Однажды, помню, во время обеда зазвонил телефон и старушка попросила меня взять в прихожей трубку. Звонил какой-то мужчина и глухим низким голосом попросил Гаяне; Западов до старости, — пока его из больницы после инфаркта не умыкнула-таки к себе какая-то тоже уж пожилая дама — из бывших аспиранток, украв у законной жены, — ревновал свою половину; но я не знал этого, и ляпнул, что хозяйку требует к телефону какой-то мужской голос; Западов насторожился, но, прислушавшись, плюнул и расхохотался:

— Да это ж Фаина!

Звонила Фаина Раневская. И что б уж закончить с байками, расскажу, откуда Раневская хорошо знала Гаяне Христофоровну.

До войны, с десяток лет живя вместе, Западовы оставались не расписанными: даже если ее армянин и дал ей к тому времени развод, в среде интеллигенции тогда не придавали ни малейшего значения таким формаль-

ностям. В 41-м Александр Васильевич ушел на фронт, а его Гаяне оказалась предоставлена самой себе. Еще до блокады она подалась в Москву и вскоре осела в гостеприимном доме Ардовых. Как уж это случилось — Бог весть, но исполняла она в доме роль гувернантки при пасынке Ардова юном Алеше Баталове, не отличавшимся в те свои годы покладистостью нрава и прилежанием. И, таким образом, знавала множество ардовских гостей — и Ахматову, и Раневскую, и многих других. Однажды Западовы взяли меня с собою в гости к Ардовым на Ордынку. Старик Ардов был уж совсем плох, но какое-то время держался за столом молодцом — пока не заснул. Но все эти двадцать минут он непрерывно развлекал гостей. Мне он прочел:

Что ты дуешь в трубу, молодой человек.

Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек.

И неверной рукой надписал только вышедшую книжечку из «Библиотечки «Крокодила». При этом сказал:

— Сегодня мой автограф стоит в литмузее три рубля, когда умру — будет стоить пять.

Он умер через две недели, книжечка же так и стоит у меня на полке — на черный день.

Помню и еще одну ардовскую остроту, каковая позволяет установить время этого визита. Заговорили о Солженицыне, который тогда был еще в России и все писал письма съездам и вождям, и Ардов заметил, пожав плечами:

— Выбрал бы, что ли, кем командовать — Патриархом или Генеральным секретарем.

В память об этом визите выжил в памяти и такой анекдот, рассказанный тут же младшим сыном Ардовых Борисом:

— Чем похожи желуди на декабристов? Залупились и висят!..

Ну да этот литературный треп можно продолжать бесконечно, хоть на мой вкус и в нем есть немалый смысл: текст прочитать может каждый, но такой штрих, как слезы Хлебникова перед кавказскими гимназистками, извините, атрибут уже не биографии даже, но мифа. Да и анекдоты эти многое говорят о нравах. Скажем, еще одна байка Гаяне Христофоровны — о Смелякове. Он занимал в Переделкино скромную дачку прямо позади ивановской. И вот старуха Западова сидит на лавочке, мимо идет пьяный Смеляков; видит ее, не узнает, кладет руку на плечо и молвит пойдём к тебе...

Ладно, будет, вернемся в «Советский писатель».

Едва моя первая книжка вышла, как дерзновенный Западов сказал, что нужно заключать договор на следующую. При этом на книжку были рецензии, но отнюдь не лестные. Самая мягкая в «Литературке» звучала примерно так: «Неясно, зачем было возводить столь изящное здание, коль никаких общественных проблем автор не ставит, и жить в этом здании нельзя». И опять-таки трудно сегодня передать, сколь невероятным было подобное предложение, — было бы даже в том случае, если б я получил премию Ленинского комсомола: издательство вообще не заключало договоров по заявкам, ну, разве что с Расулом Гамзатовым.

Мне было, повторю, двадцать шесть, и никакого литературного опыта у меня не было. Из будущего ро-

мана «Цветы дальних мест» у меня была написана, дай Бог, первая глава, которую я к тому ж в сотый раз переделывал, никак не умея найти нужный тон. Но чудо случилось, и вот по трех страничной заявке со мной заключают договор и платят аванс.

В юности к чудесам привыкают быстро. И, коли они с вами происходят не раз, вы начинаете легкомысленно полагать, что так будет всегда. Однако расплата подстерегает счастливых за ближним углом, и очень скоро мне предстояло в этом убедиться. Тогда я еще не был бит, но крайне самонадеян, поэтому даже не очень-то и удивился, отнесясь к очередному призу судьбы, как к должному: сгреб свои денежки и отправился на снятую мною на гонорар от первой книги дачу — сочинять. Самоуверенности прибавляло и то, что вокруг первой книжки возник-таки известный ажиотаж. Обо мне в ряду других авторов мифологической прозы писал в той же «Литературке» знатный критик Лева Анинский, меня стали вызывать на какие-то совещания молодых в загородном пансионате с коштом и финской баней, пригласили на какое-то торжественное заседание в ЦДЛ, где авторов первых книг представляли писательской общественности их рекомандатели в члены Союза; короче, я попал в обойму, — достаточно сказать, что я тогда оказался вовсе не по заслугам и не по чину в одной компании с Тимой Зульфикаровым, Анатолием Кимом и Прохановым, писавшим тогда нечто лирическое о том, как он спал со своей редакторшей, — распространенный мотив советской прозы, встречавшийся даже у такого серьезного писателя, каким был Константин Воробьев («Вот придет великан»), — все старше меня лет на де-

сять-пятнадцать. Правда, я был достаточно благоразумен, чтобы относиться ко всему этому с юмором и легкой брезгливостью. Вот и Фазиль Искандер, когда его попросили выступить и представить меня, как его креатуру (Фазиль написал мне рекомендацию в Союз), отмахнулся, что, мол, занят, а мне пожал руку и сказал кратко иди пиши. К тому ж, вся эта дребедень, столь далекая от письменного стола, отчаянно припахивала партийной фальшью. Помню, один симпатизировавший мне функционер, — заведовал продуктовыми писательскими заказами, — из сочинителей для юношества, встречая меня в ЦДЛ, возбужденно спрашивал:

— Почему вас так редко видно?

— Да вот, сижу на даче.

— Что же вы там делаете?

— Роман пишу.

— Бог с вами, батенька, на это должно уходить максимум десять процентов времени. Все остальное занимает оргработа...

В один прекрасный день меня в числе других соискателей членства в Союзе Комиссия по приему пригласила на собеседование в Московскую организацию. Там сидели невозможные функционерские рожи. Они по кругу спрашивали нас о творческих планах. Когда дошла речь до меня, я коротко сострил, что, мол, планов много, но мало денег. Это была невозможная бестактность. Тут же поднялся член комиссии критик Блинов — я запомнил фамилию, потому что и морда у него была блином, если только бывают блины раскаленно красного цвета. Он был в такой ярости, что захлебывался: да он... да я... да мы... И, наконец, выдохнул да я в его возрасте

еще гусей пас. И, скорее всего, это была правда. Кстати, на этом же самом заседании случился такой казус: неожиданно в комнате появился Борис Можаяев. И стал говорить в том духе, что пора прекратить эту показуху и балаган, что не надо сбивать молодых с толку; вот, скажем, чему может научить начинающего писателя такой главный активист по работе с молодыми, как Олег Попцов. Поясню, Попцов был главным редактором журнала «Сельская молодежь» и пёк отвратительно толстые бездарные романы про комсомольцев, которые кирпичами публиковал в издательстве «Московский рабочий». Потом он сделался ярым демократом, но тогда именно ему было поручена идеологическая — а какая другая могла быть — работа с молодыми. Попцов, между тем, не был членом Комиссии и отсутствовал. Ну, Можаяев высказался, члены вежливо промолчали, как если бы перед ними был старый маразматик, оторвавшийся от жизни, которого пришлось выслушать из вежливости, — и заседание закрылось. А через часа два, в сумерках, когда после посещения буфета я ждал такси на стоянке у ЦДЛ, застал такую картину: маленький Попцов держал за грудки довольно крупного мужика Можаяева и что-то страстно, с пеной у рта, верещал; вид у Можаяева был испуганный, рыжая борода вспенилась, он слабо извинялся. Вот хватка была у комсомольцев: Попцову быстренько на Можаяева настучали, он не поленился примчаться, чтобы разобраться с обидчиком на месте...

Но дальше мои дела пошли не так гладко. Роман я написал и сдал в срок, взяв, правда, вполне официально месячную пролонгацию. И время этого писания мне

вспоминается как ужасное и восхитительное. Самым невозможным образом я был тогда молодым гулякой и прилежным сочинителем одновременно. Я писал по чужим дачам, — о Домах творчества тогда и мечтать было нельзя, — в квартире родителей, даже в больнице, куда меня, абсолютно здорового, поместил мой тогдашний зять-невропатолог; но и там, в одноместном изоляторе, меня навещали дамы, лился коньяк, сменялись медсестры, а стук пишущей машинки заглушали стоны умиравшей за тонкой стеной старухи: Таня, Таня...

Когда я представил готовый роман Западову, он по прочтении, как некогда, затребовал меня на дачу. И как некогда — был взволнован. Было начало марта, Западков вызвал меня на прогулку. Помню, мы текли со стариком вместе с вешними ручьями мимо пастернаковской дачи, на которой тогда еще жил знаменитый на весь поселок чао-чао, — Западков все молчал, будто раздумывал, поделиться ли со мною сокровенным. Потом сказал коротко: поздравляю, вы стали писателем.

В конце весны 1979 года я получил две рецензии на этот самый роман. Некогда хваливший меня Жуков, сидевший в издательстве уже на месте Карповой, писал, что роман с такими идеологически-эстетическими установками напечатан быть никак не может. Но главный сюрприз был впереди: в рецензии моего покровителя Западова было написано что-то в этом же роде, быть может, чуть мягче. Тогда же, помнится, он и еще раз призвал меня и объяснил, что вышло постановление ЦК «О работе с молодыми», идеологические установки очень ужесточились, и даже показал мне текст какого-то выступления Маркова, тогдашнего писательского па-

пы римского, где Западным были отчеркнуты соответствующие места, призывающие старших товарищей к бдительности в отношении к настроениям колеблющейся молодежи. «Так что сами понимаете», разводил руками Запад.

Но я — не понимал. Я был покоробен и уязвлен — ведь он только что восхищался романом. Я счел эту рецензию малодушным предательством. Я изъял из своего дела в Союзе западовскую рекомендацию и спустил в его почтовый ящик. Я перестал у него бывать. В то же самое время в «Новом мире» мне показали рецензию на роман бесстрашной и мудрой Инны Соловьевой, — и этот текст утишил бы и не такие раны. Чтобы дать понять, какова была эта рецензия, приведу лишь возмущенный отклик тогдашнего редактора журнала Наровчатова: я было подумал, читая рецензию Соловьевой, что перед нами новый Фолкнер. К слову, Наровчатов пил и сам ничего не читал: моя редактор милейшая Наталья Долотова подсунула ему рукопись читать на время субботника, когда прочим членам редакции вменялось производить уборку и расчищать завалы самотечных рукописей. В отзыве Наровчатова был еще и забавный скулеж: «Бог мой, что ж мы будем делать с такими-то описаниями национальных меньшинств».

Как бы то ни было, рецензия Инны Натановны был призом, искупающим многое, если не все. Более того, как некогда Фазиль Искандер, потом Владимир Чивилихин, в разные годы читавшие частным образом мои опусы, Соловьева позвонила мне домой и пригласила в гости — знакомиться. Мы с ней и с ее подругой Верой Шитовой, можно сказать, подружились, и в первый же

вечер Инна Натановна всучила мне, не смотря на мое сопротивление, жирную нежную селедку, полученную ею в писательском заказе,— я понял и символику этого жеста, намекавшего, кажется, что и я сообразно качеству написанного имею уж право на свою скромную сочинительскую пайку... Помню, когда я обо всем рассказал Жене Харитонову, тот только ахнул: нет, определенно тебя любит Бог, раз с такой постоянностью не оставляет своей милостью.

Соловьева с радостью черкнула мне новую рекомендацию, которой я и подменил западовскую. Другими поручителями были, как сказано, Фазиль Искандер и тот же критик Лев Аннинский. И дело мое действительно двигалось к прохождению приемной комиссии писательской организации.

Но — меня понесло. Придравшись к тому, что издательство на месяц — сравнительно со сроками, указанными в договоре — просрочило предъявление мне рецензий, я подал на «Советский писатель» — в суд. Помню, меня встретил на улице Аннинский и, держась за голову, простонал: кто же судится с «Советским писателем»! Какой-то чиновник в приемной комиссии говорил в ужасе: вам же полгода оставалось до приема, хоть потерпели бы. Вилкова страдальчески морщилась: да ведь и генералы не ропщут, когда рукопись возвращают на доработку. Но я твердо решил, что больше в эту игру не играю.

Это не был спонтанный капризный жест обиженного юнца. Во-первых, поступок Западова как-то сразу высветил, в какое болото меня затянуло. Во-вторых, все мое воспитание и окружение тех лет — а это был, так

сказать, около метропольский круг, — подсказывало, что приличному человеку в Союзе писателей никак не место. Да и воспитание Якобсона... Помню, Юрий Айхенвальд саркастически говорил родителям: видел Колю на улице, выправка совершенно писательская, посоха не хватает. Короче, постыдный успех первой никуда не годной книжки нужно было искупать. И, главное, я не собирался лакировать роман, не собирался изменять в нем ни строки — во всяком случае, по диктовку жуковых. И, конечно же, свою роль в этом решении сыграла и новомирская восторженная рецензия Соловьевой.

Дело, как ни удивительно, я выиграл. Адвокат издательства в коридоре суда шептал, что две тысячи, коли я их отсужу, скоро иссякнут, а мне жить и жить; в зале же заседаний он голосом Плевако вопрошал судей, уж не хотят ли они, чтобы из печати выходили антисоветские сочинения. Но судьи лишь хмыкали, и я выиграл.

И вот тут, перед выплатой причитающегося по исполнительному листу гонорара, меня вызвал к себе новый директор Еременко, спущенный после смерти Люсичевского в издательство из ЦК. Я уж вдруг решил, что победил по всем статьям, и они согласны пойти на пятную. Войдя в знакомый кабинет, я увидел за столом лысого нестарого человека, и не подумавшего встать навстречу. Мне сесть он тоже не предложил. С минуту он разглядывал меня, потом произнес с невероятной ненавистью: хотел только взглянуть на вас, у меня сын такого же возраста, идите... Лет через десять, уже в обновленном Союзе Саша Иванченко, бывший тогда одним из секретарей и получивший в руки мое дело, по-

дарил мне на память донос Еременко, направленный им в Союз: и такого-то человека вы собирались принимать!..

Началась долгая эпопея с «Новым миром». По иронии судьбы, вскоре заведующим редактором прозы журнала оказался все тот же Жуков, и роман мне вернули. Потом позвонила Долотова и сообщила, что Жуков ушел, а на его месте — милая женщина по имени Маргарита. Роман вернулся в редакцию. Это была долгая изнурительная борьба. Я делал журнальный вариант, его однажды даже набрали, потом рассыпали набор, потом опять подписывали в печать. Годы доплыли, как облака, до 87-ого, и на месте заведующего прозой неожиданно оказался Вадим Борисов, человек нашего круга, автор «Из-под глыб», друг моего друга Володи Кормера. Казалось, теперь-то роман выйдет — Вадим мне это клятвенно обещал. Но году в 88-ом накатилось красное колесо, и забило весь журнальный объем на несколько лет вперед... Роман вышел в «Волге» в 90-м, и тогда же — в том же родном «Советском писателе». Да и сам я к тому времени стал советским писателем, ибо на корочках моих значилось Союз писателей СССР. При желании, в том можно было бы увидеть повод для торжества. Коли не знать, конечно, что пройдет совсем немного времени, и не станет ни самого Союза, ни «Советского писателя», ни советских писателей, ни даже нового мира, а его место займет мир поновей...

Жалею ли я о том, что не доправил книгу, не довел до их ума, не протащился с ней тихой сапой в издательский план, — при определенном смирении все это было возможно? И что неблагоприятно судился с кормильцем?

Ведь моя жизнь сочинителя сложилась бы тогда совсем по-другому. Нет, конечно, не жалею. Ведь в этом случае я оказался бы совсем в другой компании и среди других людей, и не было бы у меня товарищей, с которыми мы потом съели пуд литературной соли. Жалею я об одном: выйди роман вовремя — он был бы прочитан. Безводная опасная и прекрасная пустыня, засыпанная пустой стеклотарой, по которой мечутся глупые и растерянные люди, уповая набрести на неведомый оазис. Впрочем, эта метафора и по сей день актуальна.

Глава VII

... И СЕМЬ ГНОМОВ

Красавчик позвал Плешивого; Плешивый привел Крота; Крот свистнул Прусаку; Прусак пригласил Счастливого; Счастливчик порекомендовал Придурка; Раввин напросился сам; всего семь гномов.

Однажды Красавчик позвал Плешивого в длинную коммунальную квартиру, в комнату с камином, облицованным старыми изразцами. На изразцах по белому полю вились синие цветы. Правда, потом Плешивый иначе излагал всю историю. Он вспоминал, будто Красавчик приехал к нему в Сочи, где Плешивый отдыхал со своей белоснежкой, арендовав какую-то лачугу. Будто бы лил дождь. Спустя годы Плешивый писал: «Со страху сами знаете перед кем мы переговаривались на пустынном пляже тут же сжигаемыми записками». Здесь, просим прощения за это слово, контаминация: испуг был не

столь силен, записки пошли в ход позже. Да и был ли пляж, коли лил дождь? Впрочем, общие очертания Плана действительно нарисовались тем сентябрем.

Плешивый привел Крота; они принесли много водки. Топили камин, который не дымил; от него лишь потягивало запахом тлеющей сырой древесины. Прикинув и подсчитав, сговорились, что нас будет семеро.

В этой самой комнате в длинной коммунальной квартире Красавчик временно проживал у Красивой Дамы, которую узнавали на улицах. Дама работала на телевидении, где зачитывала новости, поэтому на улицах ее узнавали. Зачастую продавщицы гастронома продавали ей без очереди дефицитные продукты. А в цветочной лавке отпускали цветы с заднего хода, красивые цветы, которые Красивая Дама очень любила. Она так любила цветы, что в отсутствие живых любовалась каминными изразцами, синими холодными разводами, напоминавшими ледяной узор на морозных стеклах.

В те времена, как и во все последующие, телевизионных новостей было немного, и Красивой Даме что ни день приходилось зачитывать одни и те же. Впрочем, старые новости почти всегда лучше новых новостей. Почти всегда.

Камин Красивая Дама и временный Красавчик топили тонкими досками от разбитых ящиков из-под продуктов; продукты изредка подвозили в соседний магазин и давали Даме без очереди. А ящики грузчики выбрасывали в грязный двор.

В других комнатах длинной квартиры каминов не было. Это была старая квартира в старинном доме, и в

ней когда-то жила одна-единственная семья состоятельных людей. Состоятельная семья занимала всю квартиру: у них была гостиная с эркером, в ней нынче жила чета дворников-удмуртов, детские, где тоже жили теперь случайные заволжские люди, и спальная комната, которую занимал холостяк-журналист партийной газеты; по субботам он выпивал много водки и, пока здесь не поселился Красавчик, раз в неделю по воскресеньям предлагал Красивой Даме выйти за него замуж.

Комната с камином, где жила Дама, у которой теперь жил Красавчик, некогда служила кабинетом состоятельному хозяину; тот курил трубку, прислуга разводила в камине огонь; тогда топили не досками от ящичков из-под продуктов, а сосновыми поленьями, ровными блестящими от смолы брусочками, которые прислуга покупала неподалеку, на Сухаревке. И состоятельного хозяина, сидевшего в вольтеровском кресле с шотландским пледом на коленях, звуки потрескивавших в камине сосновых дров заставляли благородно мыслить о том, как бы ловчее разрушить собственный комфорт. В те годы в России было немало людей, недовольных своим положением состоятельных, и, поскольку это были люди в большинстве умные и образованные, им впоследствии удалось достичь своих целей. Квартиры у них отобрали, но они не жаловались; ведь теперь им больше не приходилось мучиться чувством вины перед другими, менее состоятельными и хуже образованными людьми. А в их гостиных с эркерами стала жить прислуга, потомки той самой, что некогда разводила огонь в камине, облицованном красивыми изразцами с синими разводами на белом фоне.

Красавчик, Плешивый и Крот пили водку; Красавчик гордился перед приятелями, что живет в комнате с камином у Красивой Дама, которую узнают на улицах; и тем, что телевизионная Дама подает к водке закуску как простая милая хозяйка. Дама время от времени покидала комнату и уходила в самый конец длинной коммунальной квартиры. Там на кухне была газовая плита; на плите стояла кастрюля. Дама пробовала вилкой, сварилась ли в кастрюле картошка: корнеплоды, три килограмма, она принесла домой в большом бумажном пакете накануне вечером, прочитав с экрана телевизора очередные старые новости; картошку ей дали с черного хода гастронома, во дворе которого в тот вечер горел большой красивый огонь. В лавке цветов не было. Дама почистила картошку еще утром, потому что ее Красавчик сказал, что после обеда зайдет Плешивый. И подновила лак на ногтях.

Здесь к месту сказать, что Красивая Дама не всегда жила с камином и читала новости на телевидении; когда-то она служила просто красивой продавщицей филателистического магазина. Там в магазине ее увидел инженер-филателист и полюбил за красоту. Он привел ее в длинную квартиру, в комнату с камином, но вскоре умер от сердечного приступа. Не потому, конечно, что некогда вся длинная квартира принадлежала состоятельным предкам инженера-филателиста; просто умер, поскольку у него была сердечная недостаточность. Но ко времени его женитьбы на красивой продавщице заморских и отечественных марок все его предки тоже умерли по разнообразным причинам; быть может, филателист устал продолжать жить с чувством

вины перед родственниками за собственное долгое житье, и его сердце остановилось. Ведь все его родственники в определенном смысле тоже умерли от чувства вины, пусть и по причинам разнообразным, и это чувство было у инженера наследственным. Но, еще не умерев, он успел свою жену пристроить в дамы на телевидение, где у него были связи и куда Дама прошла по конкурсу, потому что была красивой и умела отчетливо произносить разные слова, чему научилась за многие годы, разговаривая с филателистами из-за прилавка своего магазина. И Дама на время досталась Красавчику, потому что стала одинокой вдовой и всегда любила талантливых ничего-себе молодых людей, и чтобы они не собирали марки. Красавчик некогда собирал марки, но недолго, лет до девяти, а, значит, это было достаточно давно и успело забыться.

Обычно Красавчик выходил за досками вечером после наступления темноты: он называл это отправиться за валежником. Он прихватывал маленький острый металлический топорик — разбивать ящики, разрубать опутывавшие доски жестяные ленты, — и пробирался во двор гастронома, заваленный порожней деревянной тарой, таясь. Время от времени грузчики из магазина сжигали ящики в этом же дворе, чтобы получился большой костер. Но Красавчику все равно надобно было умыкать тару крадучись: злые грузчики побили бы его, когда б увидели, что у них крадут дрова, из которых можно развести большой и красивый огонь, те самые дрова, что Красавчик называл валежником.

У нас ведь никогда не бывает ничего лишнего; даже если это ровным счетом никому не нужно, что-

нибудь кому-нибудь да сгодится. А зачастую и не один раз.

Когда Красивой Дамы не бывало дома, Красавчик включал телевизор в ожидании новостей, которые его Дама в который раз сообщит ему с телеэкрана, пристально и нежно глядя прямо на него своими бледно-голубыми, слегка навывате, круглыми глазами. Иногда они договаривались, что Дама чуть кашляет в условленном месте, между вестями с полей и известиями о промышленном росте. Чем даст знать Красавчику, как сильно она о нем помнит.

Ожидая покашливания Дамы, Красавчик устраивался на ее диване с книгой «Встречи с Мейерхольдом», заложенной на статье Сергея Юткевича, автора фильма «Ленин в Польше», о докторе Дапертутто. Красавчик собирался написать комедию о своей предыдущей любимой, которая его бросила и уехала за границу с мужем сами знаете откуда; комедию в стихах в духе Гоцци и в манере дель-арте; но он не совсем знал, ни что такое комедия, ни что такое дель-арте; теперь ему приходилось самообразовываться, хоть название было уже готово. Комедия должна была называться «Страсть к семи мандаринам», ведь речь шла о неверной и обильнолюбивой женщине, приносящей возлюбленному кислую горечь и едкую сладость. Или лимонам, или грейпфрутам, или просто — к семи цитрусовым, но это еще не было решено окончательно; название, ясное дело, до начала работы оставалось рабочим.

Собственно, на почве поэзии Красавчик некогда и подружился с Плешивым и с Кротом; а потом с Прусском; и со Счастливым; и с Придурком; и с Раввином;

всего семь гномов... И если б не эта их общая страсть к Мёду Поэзии, то ничего бы и не случилось. Жили бы как жили, и все остались бы целы. И любили бы своих бело-снежек: каждый свою, а не одну на всех, как потом вышло.

Едва картошка сварилась, Дама принесла в комнату кастрюлю, закутанную в полотенце; она переложила картошку в миску и поставила посреди стола; от картошки шел пар и запах постного масла; Крот как старший разлил по рюмкам водку, которой было много, и сказал, что подумал и выведет Прусак. То есть приведет, Крот подчас путал слова. Приведет, хоть и не любит стихи, которые сочиняет Прусак. Точнее, не понимает их. Сам Крот писал длинные хитросплетенные поэмы, как новый Ариосто, но Прусак считал их старомодными, так что непонимание песен друг друга было у них взаимным. Впрочем, все это выяснилось позже.

В тот вечер они втроем обильно напировали водки и были счастливы. Точнее сказать, они были довольны, что все удалось обсудить и сладить. И обо всем договориться. Ибо дело, которое они затеяли, было весьма опасным по тем временам, и приходилось соблюдать осторожность. Но и счастливы были, конечно, как бывают счастливы три симпатичных друг другу русских гнома, когда им удастся сообща славно напиться. Даже если толком договориться ни о чем не удалось. Ведь чаще всего симпатичным друг другу людям договариваться совершенно не о чем.

Когда Плешивый и Крот ушли, Красивая Дама уложила Красавчика на диван, подвинув Юткевича. Она гордилась тем, что знает много штук, приятных талант-

ливым молодым людям ничего-себе; Дама полагала, что тех женщин-женщин, которые хорошо-хорошо умеют делать такие штуки, талантливые ничего-себе мужчины не бросают никогда-никогда. Даже если мужчины еще молоды. Это ее убеждение выдавало тот факт, что, подобно многим красивым дамам, она была далека от Правды жизни; но близка ее Поэзии. Пусть Дама никогда-никогда и не читала первый из трех томов воспоминаний иностранного почетного члена Петербургской академии наук Гёте Иоганна Вольфганга.

Но она знала это имя, потому что любила отгадывать кроссворды, и даже имела отдельную подсобную тетрабочку с наиболее часто встречающимися пересекающимися словами. В тетрабочке значилось и это самое гёте на букву Г...

Пока Красивая Дама проделывала с Красавчиком, глядя чуть голубыми навывкате глазами, всё необходимое для поддержания прочности их союза, Плешивый и Крот добрались до ближайшей станции метро, и Плешивый сказал: ты бы позвонил Прусаку.

На что Крот ответил в том духе, что позвонит, когда доберется до мастерской. При этом он не пояснил, до которой мастерской намеревается добраться: у него была белоснежка — жена Скульпторша и возлюбленная белоснежка Живописец, и каждая имела по собственной мастерской. Но, поскольку у Скульпторши телефона в мастерской не было, Плешивый сообразил, что Крот направляется к Живописцу, поскреб плешь, потерял бороду и сказал: ну-ну.

Они распрощались, каждый ни о чем не забыв и думая каждый о своем.

Да и Красавчик, пока его Дама проделывала то, к чему уж его приучила, думал неотступно о Плане.

Странно, не правда ли, что подчас суетные, в сущности, в сравнении с жизнью леса и неба планы волнуют совершеннолетних гномов мужского пола много больше, чем рябь на воде, или стрекот кузнечиков в поле, или языки пламени в камине, которые непредсказуемы, как судьба. Или облака.

И Плешивый отправился в одну из своих командировок.

Дело в том, что, будучи инженером по образованию, в свободное от сочинения своих виртуозных песен время он подвизался на весьма странном поприще. А именно — разъезжал по весям верхнего мира и заключал с директорами различных предприятий и фабрик договоры на приобретение картин и скульптур всяческих загорелых скульпторов и художников. В порядке выполнения планов, спущенных предприятиям по наглядной агитации и пропаганде. То есть распространял в трудовом народе изваяния Вождя и изображения вождей, что, конечно, несколько не вязалось с его подпольной жизнью и рудной природой. Но угрызений совести он не испытывал. Все мы жили тогда как бы на двух этажах, а какое-никакое пропитание необходимо и самому непритязательному гному.

Весьма скоро по возвращении Плешивого из его экспедиции, как и обещал Крот, Красавчик, Плешивый, Крот и Прусак встретились в мастерской Скульпторши, именно потому, что там не было телефона; в те времена всякий ребенок знал, что в квартире, где есть телефон, прежде чем приступить к непринужденной беседе, ап-

парат следует обезвредить; многие для этой цели просто снимали трубку, но это было наивно; ушлые переговорщики поступали иначе, а именно проворачивали диск аппарата и прищемляли его спичкой. Но самые осторожные вообще отказывались разговаривать в помещении, только на свежем воздухе; если же на свежий воздух было никак не попасть, писали на бумажке, обмениваясь с собеседниками лаконичными записками, которые позже следовало съесть или сжечь, — и именно эту-то традицию вспоминал спустя годы Плешивый в своем автобиографическом сочинении. Якобы и на пляже они с Красавчиком переговаривались подобным способом. Нет, память подводит Плешивого, эту традицию завел Раввин, но Раввин появился позже, его тогда еще не было среди нас.

Красавчик, Плешивый, Крот и Прусак сидели в мастерской Скульпторши. Ну, вы бывали в мастерских скульпторов: гипс, обломки арматуры, пыль по углам, полутьма, пустые бутылки по полу, какая-нибудь лежаночка, а сбоку — здоровенный стол, на котором какие-то эскизы небрежными стопками вперемежку с невымытыми стаканами. В мастерской не было телефона, говорили, как на свежем воздухе, и пили водку. Закусывали остывшими чебуреками, на которых белой пленкой застыли прогорклое масло и бараний жир. Чебуреки продавали рядом, на Сретенке, в двух кварталах от того дома, где Красавчик временно проживал у Красивой Дамы. В те годы, как ни странно, чебуреками, приобретенными в пунктах общественного питания, никак невозможно было отравиться. Особенно если запивать их обильно водкой.

Рядом с чебуречной была и церковь. Не зная ее названия, Плешивый украдкой перекрещивался на купола, коли шел есть чебуреки в мастерскую белоснежки Крота. Украдкой потому, что на улице был еще тот режим, который не крестился. А уж при том, который принялся креститься на фонарные столбы, никакой План уж не имел бы смысла.

Чистая наивность была свойственна гномам тогда. Кто ж не знает, что в мастерских скульпторов — крестись не крестись — обычно очень мало свежего воздуха. И разговаривать там, полагая, что ты находишься на свежем воздухе, было верхом прекраснотуши. Но гномы были поэты, а где виданы осторожные и предусмотрительные поэты? Хоть и вовсе нельзя сказать, что судьба наша была предрешена этим околопоэтическим обстоятельством, вовсе нет.

Впрочем, Прусак не пил водку. Он ходил гоголем, штаны заправлены в сапоги, ношенный свитерок, лысинка, очки то и дело ползут по носу. Водки он совсем не пил, то есть ни грамма. Чувствуя, что это вызывает недопонимание его новых друзей, более того, видя, что это их не на шутку интригует, Прусак объяснил, что иногда любит выпить бутылку пива. А водки ему пить никак нельзя из медицинских противопоказаний, поскольку в детстве он сильно хворал. И он спел такой стих:

Вот водочки совсем не пью,
И Пушкин тоже водки не пил,
И Лермонтов один шато-лафит,
И Блок в бокале золотой ай,
Закусывая черной розой,
А вот поди ж как любит НАС народ.

Прусаку Красавчик показался эдаким суперменом. Красавчик носил тогда немислимый какой-то костюм со шнуровкой, сшитый, похоже, из тонкой мешковины, — костюм ему прислала из далекой страны, куда она отбыла с мужем, изменщица возлюбленная. Вместе с бутылкой шотландского виски — в порядке компенсации, так надо понимать. Еще Красавчик носил заливчатскую клетчатую кепку, которую не снимал и в гостях. И все это: и свитерок, и очки Прусака, и кепку Красавчика, и лысину Плешивого, и тонкое породистое лицо Крота, и густую черную бороду Раввина, и иконописный лик Счастлищика, и задвинутую назад нижнюю часть лица Придурка, — можно увидеть сегодня на двадцатилетней давности черно-белой фотографии, сделанной тогда, когда вся команда собралась, но даже Альбом еще не был готов. Пятеро гномов смотрят гоголем, но грусть на лице Крота и грусть на лице Счастлищика. Будто они уже все предчувствовали. Эту фотографию сделал один известный в те годы фотограф, но когда события стали разворачиваться так, как они стали разворачиваться, он насмерть перепугался и уничтожил негативы. Зря, сегодня они дорого бы стоили. Так что фотографию эту можно увидеть нынче лишь в смутном фотографическом исполнении в забугорном издании Альбома, которое состоялось-таки. Но это будет много позже.

Итак, Прусаку Красавчик с первого взгляда показался суперменом и весельчаком, что называется, там на свету, — рубахой-парнем. Такой мужественный-безрефлексии, какие ж стихи он может писать? В свою очередь, Красавчик видел Прусака лишь однажды на чтениях, сидя в публике. Он не понимал прелести сти-

хов Прусака, удивляясь аплодисментам зала. Ему представлялось, что Прусак лишь более или менее артистично кривляется и острит. Все дело было в том, что в детстве бабушка Красавчика читала ему вслух «Руслана и Людмилу», и «Мцыри», и «Соловьиный сад»; а про Белоснежку говорила, что у той ангельский голосок, всегда чистый передник и она ждет не дождется принца, который должен прибыть с минуты на минуту и взять ее в жены. И что этим принцем он, ее внук, и станет. Красавчик так и пошел по жизни, полагая какой-нибудь трехдольный амфибрахий с однодольной анакрузой не просто таким сговором между веселыми и свободными людьми, какими они, по слухам, были некогда под небом солнечной Эллады, пусть, мол, вольные граждане, эпикруза сегодня будет двухдольной, но — обязательным условием дыхания чистой Поэзии; а правильное краесогласие — неизменным признаком хорошего стиха. Красавчик, что поделать, был слаб в модальной логике, нелюбознателен, ему было и того довольно, что он некогда узнал от бабушки. И ведать не ведал, что такое эпистемический парадокс.

Когда чуть выпили водки и посвятили Прусака в План, тот как-то задумчиво обрадовался, если такое возможно. И почесал в бороде. Друзья ждали, еще разлив, чтоб скоротать паузу. И вот что сказал Прусак:

— Ведь все мы в некотором смысле существа хтонические.

И потом:

— И, так сказать, никогда не видели яркого света.

И еще:

— Поэтому Наш План, мне представляется, вполне соответствует вышесказанному...

И даже если бы он не говорил ничего больше, и так было бы ясно, что он согласен. Ведь он произнес слова Наш План.

Едва решили, что Прусак приведет Счастливику, итого уже пять человек, как в мастерскую явилась хозяйка-Скульпторша, белоснежка Крота, а с нею еще три-четыре неизвестных человека. По их загару сразу было видно, что все они оттуда, с яркого света, и уже одно это никак не могло понравиться гномам. Неизвестные дышали здоровьем и были без бород, при этом очень большие, и один такой большой, что друзья его так и называли — Слон. Плешивый, который был самым осторожным, засобиравшись вон, подтолкнув под столом Красавчика. С сожалением Красавчик тоже поднялся, хоть и оставалось еще много водки и несколько чебурчиков, правда, остывших. Но вовремя сообразил, что как раз напротив красивого дома его Красивой Дамы, у которой он временно проживал, есть красивая стеклянная рюмочная, где стаканчик водки стоит вовсе не дорого, а к нему подают бутерброд с селедкой. Он хотел было откланяться, но его задержала довольно забавная сцена: Скульпторша и Прусак стояли друг перед другом в явном замешательстве.

— Ты как здесь? — произнесла Скульпторша, жена Крота, для которого эта сцена тоже была в диковинку.

— Я так, — находчиво ответил Прусак и пощипал застенчиво себя за бороду.

— А, — нашлась и она. И пояснила мужу: — Мы же в одной группе учились.

Прусак в свое время действительно учился вместе со Скульпторшей. Но та заделалась монументалисткой, а Прусак лепил игрушки, был специалистом по малой скульптуре. Как-то ему перепал заказ на изваяние Крокодила Гены для детского сада. Комиссия не приняла работу: кто-то из райкома заметил, что крокодилы не носят калоши. Прусак не стал возражать и калоши с крокодила снял. Потому что должен был зарабатывать на жизнь себе, своей белоснежке, преподавательнице иностранного языка, а также тогда еще маленькому Прусаку-младшему. Хоть и был он одним из нас, хранителем сокровищ, но в те годы разменивать их время еще не пришло...

И Прусак вежливо попрощался с бывшей сокурсницей, и она в ответ небрежно махнула ручкой.

На том все и кончилось, Плешивый с Красавчиком и Прусак с ними покинули мастерскую Скульпторши. А большие загорелые ребята со свежего воздуха и яркого света — помощники Скульпторши, как оказалось,— сели допивать оставшуюся водку в компании Крота...

Красавчик был давно знаком со Счастливым. Красавчик вообще был со многими знаком в подпольном мире, такой уж он был веселый и общительный. Правда, со Счастливым его ничего не связывало; кроме того, что Красавчику очень нравились стихи Счастливого, хоть и написаны они были вольно; так ведь и Блок, автор поэмы «Соловьиный сад», которую некогда читала Красавчику его бабушка, писал: вот девушка, едва развившись... Верлибр, не иначе. Поэтому, когда была назначена встреча уже в пятером, Красавчик приехал к Счастливому в Кунцево загодя, и уже вдвоем они

поджидали остальных гномов. Приехал не без задней мысли, обуянный нешуточными опасениями, что Счастливчик от затеи откажется.

Опасаться за сговорчивость Счастливчика были веские основания.

Ибо Счастливчик несколько последних месяцев разрабатывал совсем другой план — Жилищный. И уже все продумал. Его небольшая двухкомнатная квартира имела три окна, и все на одну сторону. В хорошую погоду, нежась на балконе в шезлонге под послеполуденным солнышком, медленно выплывавшим из-за угла, Счастливчик досадовал, что утреннее солнце ему приходится пропускать. Так уж смотрели его окна — на запад. У его же соседки по площадке, живущей за стеной, солнце глядело в окна как раз по утрам. Соседка была простая баба лет под сорок, какая-то диспетчерша, что ли, автобазы, одна воспитывала сына, которому уж стукнуло шестнадцать с половиной и, того гляди, его могли забрать в армию. Собственно, мечтания Счастливчика обращены были не только и не столько к утреннему светилу.

Счастливчик в глубоком и мучительном одиночестве изо дня в день складывал свои виртуозные песни, сидя в кресле и по-женски поджав ноги; он держал на коленях старую школьную чертежную доску, на которой устраивал свой блокнотик. Он писал бисером, буква к буквке, и выходила томительная вязь, которую разгадать мог только он сам. Его одинокие занятия напоминали вышивание по канве. Кстати, одна из его песенок называлась «По канве Рустама». С этим самым Рустамом, гномом, теперь скандально известным и в забуго-

рье — поговаривали, его ценил сам Феллини,— у Счастливого были связаны какие-то мучительные воспоминания, и иначе как гад он его не поминал. А вот песенка, сложенная, видно, в их счастливый период, выжила, и слова из нее уж было не выкинуть.

Счастливчик несколько раз уже приглашал юного соседа и его подружку к себе — как добрый дядюшка-сосед. Он внимательно приглядывался к мальцу, иногда, подавая рюмку или закуску, наклонялся поближе, чтоб вдохнуть запах юношеских подмышек. Девушка его не интересовала. Разумеется, Счастливчик не мог не вспоминать аналог: некогда его предшественник в схожих поисках утоления запретной страсти женился на матери предмета, вызывавшей в нем лишь жгучее отвращение. Пол предмета, разумеется, не имеет никакого значения — важен сюжет. В ситуациях Счастливого и Гумберта Гумберта была и еще одна рифма — автомобильная. Ведь, повторим, соседка служила на автобазе, и шанс угодить как-нибудь под колеса у нее был еще выше, чем у мамы Лолиты.

Так вот, если объединить квартиры — его и соседскую, — пробить стену, то солнцу будет некуда деваться, и оно послушно, идя по кругу, будет освещать обновленное жилище со всех сторон с утра до вечера. Короче, Счастливчик, как и положено сладкоголосому певцу, был немного фантазером. Иногда перед сном, уже закрыв глаза, он воображал, что сделал бы, коли был бы у него миллион. И ничего не мог придумать. Разве что подарить другим гномам много ярких подарков, а остальное раздать восхитительным юношам, блондинам, брюнетам и рыжим, от которых пахнет

дворовым футболом, новенькими кирзовыми сапогами и пряниками на меду. Когда к нему заявился Красавчик, Счастливчик все еще мечтал о квартире с окнами на все стороны...

Красавчик, упреждая общий разговор, осторожно изложил Счастливчику суть дела. Он начал издали, напирая на то, что вот, мол, как было бы хорошо спеть вместе на свежем воздухе, чтоб всех нас услышали загорелые простые люди. Нельзя же до смерти сидеть впотьмах, в спертости, духоте и неизвестности. Нельзя же до бесконечности читать друг другу стихи в крошечной тьме пещеры, что дурно отражается на вдохновении. Все это Красавчик облек в форму жалобы, говорил как бы только о себе и собственных чувствах. Но он знал, как безмерно тщеславны все мы, гномы, и что каждый самый одинокий, самый смиренный гном втайне мечтает об известности, а может быть, даже и о славе. Тихой осенней славе, которая только и приличествует среднего возраста гному, посвятившему себя уютным кабинетным занятиям.

Счастливчик слушал молча. Он думал о том, что ему скоро сорок и в сорок он будет совсем старик. Иные, из мужщинок, быть может, на пятом десятке только начинают цвести, а у него уж и теперь морщины. Но морщин ему никак нельзя, юные бестии не любят пожилых, только фырчат и морщатся, норовисто прядают в сторону, коли попытаться ласково погладить их по голове. К тому ж за последние полтора десятка лет он уже спел что хотел. Как он сам же и написал когда-то: а не расплакаться ли нам...

Вот именно — нам! В одиночку он никогда бы не сунулся на яркий опасный свет. Но в доброй компании таких, как сам, гномов, отчего б не дерзнуть?.. Так говорил сам с собою Счастливчик, когда раздался звонок и в квартире очутились еще трое.

Слово, после того как все пятеро гномов церемонно друг с другом раскланялись, взял самый старший — Крот. Обрисовав в общих чертах План, Крот выразил уверенность в успехе предприятия. Соображения его были таковы. Страх загорелых, мускулистых людей перед нами, гномами, — следствие чистой воды предрассудков и древних смешных суеверий. В самом деле, какую мы, гномы, с нашими песнями можем представлять опасность их стройному мощному распланированному солнечному миру? А ведь мы там, наверху, можем оказаться весьма полезны. Наша задача: выйдя на поверхность, заставить их понять это...

Позже мы все ломали головы: верил ли сам Крот в то, что говорил в тот знаменательный день? И повторял потом не один раз. Вплоть до того, когда разворот печальнейших событий не оставил гномам места ни для каких иллюзий.

Или Крот лишь пытался подогреть решимость остальных?

Гномы загалдели, едва дав Кроту закончить. Самым непримиримым оказался Красавчик. Он, жестикулируя и кипя, говорил, что никогда еще они, подпольные гномы, не шли ни на какие компромиссы с верхним миром, полным моральных соблазнов. «Вы же знаете, какие там поют песни! — восклицал Красавчик. — И пояись мы на свет с такой вот соглашательской про-

граммой, они в лучшем случае заставят нас петь, как все...» Красавчик так и выразился — соглашательской, откуда-то с университетских семинаров по славной истории верхнего мира залетело к нему, должно быть, это словцо.

— А в худшем? — спросил Прусак невинно.

И тут все пятеро немного помолчали и поправили колпачки. О худшем нам тогда не хотелось думать.

— Худшего не будет, — заявил Крот, — они ждут от нас как раз такого шага — навстречу. Да, на известный компромисс мы вынуждены будем пойти. Но — и это моя основная идея — мы и не будем просить петь на площадях и стадионах. Мы попросим для себя лишь скромную площадку — так и назовем ее: Площадка Гномов. В конце концов, они тоже любят нашу Белоснежку. И знают, как верно мы ей служим.

— Положим, у них одна Белоснежка, у нас другая, — заметил Плешивый, чеша в бороде.

Но слово за слово — и все пятеро достигли согласия. Тактика Крота была принята за основу реализации Плана. Оставалось лишь привлечь двух остальных участников, за которых волноваться не приходилось. Сговорились: Раввина берет на себя Плешивый, Красавчик оповещает Придурка.

Раввин был очень крупный гном. И борода у него была крупная, черная, с проседью. Он говорил, что она отросла, когда ему сравнялось три года, а уже к семи в ней появились серебряные нити. Раввином его звали за то, что писал он свои песни на манер псалмов. Причем были у него весьма причудливые произведения, кото-

рых никто из гномов толком не понимал. Скажем, такое:

Вечерняя молитва Ложкомоя
Ты слышишь, слышишь меня,
Ложкомой мой правды моей,
Дал мне силы домыть,
Так помилуй.

Понимать никто не понимал, никто не ведал даже, кто такой Ложкомой, но чудилось в песнях Раввина нечто значительное, крупное, как он сам. Легкомысленный Красавчик, правда, во хмелю задорно утверждал, что Раввин — самый обыкновенный графоман, и тогда Плешивый сердился и ворчал, что не нам судить ближнего своего, что и без нас судей там, наверху, найдется, хоть отбавляй.

Как и Прусак, Раввин водки тоже не пил. И тоже — по здоровью, у него была язва. Зато он всегда носил с собой бутылку кефира и пакет чищенных грецких орехов. Раввин очень-очень любил всяческих белоснежек, как правило, из своего же НИИ, где служил младшим научным сотрудником, хоть и имел степень кандидата химических наук, — гномы вообще, как известно, очень сноровисты по дамской части. Раввин беспрестанно жевал орехи — для повышения потенции. При всем том это был прекрасный и нежный семьянин, отличный муж, заботливый отец и внимательный сын. Семья из четырех человек — Раввин, его хрупкая жена с несколько трагическим взглядом терпеливой козы, прыщавый сын-школьник и больная теща — занимала вполне приличную по тем временам кооперативную пещеру, всю пропахшую особым настоявшимся домашним духом:

это были запахи лекарств, застарелых болезней, лежалого белья и старенькой мебели, которую протирали уксусом.

Здесь была и еще одна особенность — тут и там стояли ветхие, ободранные чемоданы, баулы, тюки, а между ними связанные в пачки книги по электрохимии, справочники по электротехнике и англо-русские словари. Все это увидел Плешивый, едва переступив порог жилища Раввина, и его слегка замутило с непривычки.

С Раввином была связана какая-то смутная история: однажды он решился было покинуть подземный мир да и вообще нашу страну, но, кажется, передумал. Он говорил, что однажды ночью проснулся в испуге и понял, что если там, наверху, его песни никому не нужны, то и за океаном вряд ли кто-нибудь будет их слушать.

Все это припомнилось Плешивому, и тот подумал, что это нагромождение — следы сборов к несостоявшемуся отъезду, следы, которые еще не успели стертаться.

Едва Раввин вывел Плешивого на улицу — он не доверял и стенам собственного дома, — как схватил приятеля за рукав. Плешивый еще и слова не успел произнести, как Раввин выпалил:

— Надо что-то срочно предпринимать!

И это притом, что Раввин был очень рассудительный гном, не склонный к авантюрам. Но что делать: по видимому, псалмы требовали выхода, рвались наружу, ведь даже самым осторожным гномам в какой-то момент становится невтерпеж спеть как можно более

громко, чтобы их услышали далеко за пределами их подпольной обители.

У Раввина была одна особенность: если он говорил возбужденно, то изо рта у него летели маленькие фонтанчики слюны. Вот и теперь, когда он прокричал в лицо Плешивому надо что-то предпринимать, несколько капелек Раввиновой слюны застряли у Плешивого в бороде. Плешивый тайком утерся; ему стало ясно, что Раввин готов присоединиться к Плану хоть сию минуту.

Красавчику с Придурком было и вовсе легко. Едва он произнес первые, вводные слова, как у того загорелись глазки и он чуть было не бросился Красавчику на шею. Он заставил еще и еще раз перечислить состав участников, и было видно, как он польщен,— Придурок вообще был невероятно тщеславен. Дело в том, что и в сладком сне он помыслить не мог, что когда-нибудь окажется в такой компании, где были и Плешивый, и Крот, и Прусак, и Счастливчик. Впрочем, это был начинающий гном, молодой певец, он сравнительно недавно уже в солидном возрасте спел свою первую песню. Причем нельзя сказать, что это получилось у него слишком благозвучно. И Красавчику еще пришлось уговаривать остальных согласиться на эту кандидатуру — впрочем, в разговоре с Придурком он об этой своей роли скромно умолчал. Тем более что Плешивый, скептически относившийся к неопитам, предложил сначала послушать, что Придурок покажет, а там уж и решать. Так что Придурок был приглашен, так сказать, с испытательным сроком. Забегая вперед, скажем, что позже главным защитником песен Придурка оказался, как это ни удивительно, самый рафинированный из нашей

компании — Счастличик. Впрочем, парадокс объясним: Придурковы песни были вульгарны, а противоположности, как всем известно, тянутся навстречу одна другой.

Одно смущало Красавчика. Хорошо зная характер Придурка, демонстративный, как сказали бы врачи, трудно было рассчитывать на Придуркову осторожность. Наверняка он примется бахвалиться перед посторонними Планом, а значит, все быстро станет известно сами знаете кому. Кроме того, Придурок был женат на очаровательной белоснежке, хрупкой, но сильной характером актрисе, причем довольно известной, правда, несколько пьющей. Это объяснялось тем, что вся родня ее из поморских крестьян, оказавшись в Москве, сильно запила. А кое-кто — скажем, старший брат — и вовсе сгорел в алкогольном пламени — как свеча на ветру истории переселения великого крестьянского народа.

Так вот, любая придурковатая неосторожность могла сильно навредить его белоснежке; скажем, ее могли перестать пускать на гастроли в иноземные места, даже в те, где царила народная демократия, а то и вовсе не давать новые роли. Но что поделать, все мы тогда рисковали — не только собой, это-то был наш добрый выбор, но и благополучием близких. Даже хороших знакомых, такие уж были времена...

Здесь пришла пора сказать пару слов о том, зачем вообще мы составили тогда столь рискованный План. И вот вам весьма забавный с точки зрения наших дней документ — не будем цитировать его слишком подробно, — подписанный именами трех гномов-затейников:

Красавчика, Крота, Плешивого, — по-видимому, соблюдался алфавитный порядок. Адрес — ЦК КПСС. Начинается документ так: «Союз песен не имеет ни одной экспериментальной творческой студии, не выпускает ни одного журнала или альманаха, посвященного исключительно опытам и исканиям гномов различных поколений». И, чтобы у ЦК не возник соблазн вольного толкования, следует разъяснение: «Термин «экспериментальное» мы употребляем в широком смысле, подразумевая песни, носящие новаторский характер как по применению новых средств, так и по использованию нового материала, нового угла зрения». Смешно, какие же еще у гномов там, под землей, могли быть средства, которые на свету не оказались бы новыми... Характерен и стиль послания, он выдает наивное желание гномов говорить с верхним миром, подражая его языку, чтоб лучше донести смысл, ведь друг с другом гномы никогда бы так не заговорили. Так что, как видим, поначалу идеи Крота были ведущими, Крот заразил остальных своей убежденностью, что с ними можно договориться.

Прежде всего, аккуратные и предусмотрительные гномы изготовили четыре красиво оформленных экземпляра Альбома, в который поместили избранные песни всех семи участников. Процесс изготовления происходил в квартире Придурка: тот с удовольствием взял на себя техническую работу по перепечатке текстов, желая подчеркнуть свою незаменимость в реализации Плана — не мог не чувствовать, что покамест в компании он на птичьих правах. Едва экземпляры Альбома были готовы, а гномы отправили уже цитированное письмо, приложив к нему в качестве образца один из экземпляров,

их всех охватила странная эйфория. С самого начала зарождения Плана все семеро пребывали в приятном возбуждении — как ни крути, но этот сговор привнес в их подпольную грустную жизнь привкус опасного приключения. Кроме того, живя до того всякий более или менее сам по себе, теперь каждый почувствовал себя членом сообщества себе подобных, выпренне выражаясь — плечо друга, а это в подземном мире дорогого стоит. Да и в надземном, кажется, немало.

И Белоснежка незримо все время была где-то рядом.

Так вот, почувствовав приподнятость, помноженную на новое чувство спаянности, гномы решили все вместе отметить свершение Плана. Причем не дома, в пещере, а — что с ними нечасто бывало — в ресторане. Заведение подсказала белоснежка того же Придурка — театральная ресторан, ведь была она, как сказано, актрисой.

В тот вечер Придурок чувствовал себя прямо-таки премьером. Во-первых, это он собственными руками изготовил экземпляры Альбома. И в собственном же доме. Во-вторых, это его собственная жена договаривалась с метрдотелем о столике, и она же делала заказ, поскольку ее здесь все знали, а обслуживавший их столик официант был с ней на «ты». Так что если остальные гномы были лишь приятно возбуждены, то Придурок пребывал прямо-таки в экстазе.

Худшие опасения Красавчика оправдались в тот же вечер.

Едва Придурок выпил рюмку коньяка, он захмелел и вовсе перестал соображать. А хмелел он сразу же,

пить совсем не умел, впрочем, и трезвел через пять минут, причем у него тут же начинала раскалываться голова. Так вот, захмелевший Придурок стал скакать от столика к столику — у него, по жене, так сказать, водились знакомства в театральных кругах — и шепотом, по секрету, возбужденно рассказывать полужнакомым людям, какой замечательный План он придумал. С друзьями, конечно. И вот Придурок добрался до столика, за которым сидел славный мудрый гном, известный своими прелестными, не без едкости, впрочем, песнями, которые он под гитару исполнял в узком кругу. Мудрый гном попросил Придурка успокоиться. Он попытался вникнуть в сумбурное хвостовство полупьяного гнома, потом острым глазом обвел зал ресторана, положил Придурку ладонь на плечо и сказал только два слова: ждите обыска.

Ждите обыска.

На следующий вечер гномы запланировали сверхважное мероприятие. Дело было в том, что идея компромисса, которую выдвинул Крот, хотя и была взята на вооружение, но остальных все-таки не покидали сомнения. Да и предупреждение опытного гнома-барда, имевшего богатый опыт контактов сами знаете с кем, этот скепсис лишь подтверждало. И было решено подстраховаться. Тем более что так издавна поступали многие славные гномы — от Пастернака до Гроссмана, — так что это была сложившаяся традиция: таким способом распоряжаться песнями, сложенными в подполье.

Итак, на другой день после праздника в ресторане ВТО один из экземпляров Альбома был положен в машину Раввина — у него одного из всей компании была

машина — с тем, чтобы отправиться на встречу с одним иноземным господином, который должен был переправить Альбом за бугор, как тогда выражались. В операции принимали участие Плешивый, Красавчик, Придурок и, как сказано, Раввин. Машина стояла во дворе дома Придурка под парами, а Плешивый отлучился к ближайшему телефону-автомату, чтобы сделать контрольный звонок этому самому господину, — из квартиры звонить было неосторожно. Едва он скрылся за углом, как машину Раввина с двух сторон зажали две черные «Волги». Из них вышли вальяжные господа в темных пальто и шляпах и не спеша стали приближаться. И тут Красавчик, мигом все сообразивший, с ужасом вспомнил, что к экземпляру Альбома было приложено письмо Крота к забугорному потенциальному издателю. Красавчик правой рукой нащупал папку с Альбомом, развязал тесемки, взял верхний листок — письмо лежало сверху, — скомкал его и сунул в карман: выбросить времени уже не было, темные господа окружили машину, а один проверял у Раввина документы. Представившись работниками МУРа, двое втиснулись на заднее сиденье, еще один сел от Раввина справа, на место, на котором только что сидел Плешивый, и поступила команда трогать. Приехали к ближайшему отделению милиции. Когда гномов вели затылок в затылок в околоток — господин, шедший впереди, аккуратно нес папочку с Альбомом, изъятую из автомобиля, — Красавчик изловчился незаметно выбросить скомканный листок в полную мусора урну, стоявшую перед входом в отделение.

Впрочем, как выяснилось, это была пустая предосторожность — личного обыска не проводили. Гномам

объяснили, что в районе произошла кража, а по приметам автомобиль Раввина точь-в-точь похож на описание машины злоумышленников. Впрочем, наверное, произошла ошибка. И гномы могут расходиться по домам. А как же наша папочка? А папочка пусть побудет у нас, потом получите.

Зачем был весь этот камуфляж? Отчего эти сами знаете кто представились милиционерами? Наверное, тем, кто там служит, присущ известный артистизм: ведь их работа связана с псевдонимами, переодеваниями, мимикрией и постоянным лицедейством.

Забавно, что, едва они вышли из ментовки и Красавчик рассказал друзьям о судьбе опасного письма, осторожный и всегда рассудительный Раввин предложил вернуться и на всякий случай эту самую урну у входа в отделение поджечь. Его едва отговорили.

Вернулись на квартиру Придурка, актриса открыла дверь. Обычно грустная, как Пьеро, сейчас белоснежка Придурка была чуть под банкой, возбуждена и весела. «Они только что ушли! — сообщила она радостно, хотя чему здесь было радоваться.— Обшарили весь дом. Но — не нашли!» — И она торжественно, блестя глазами, как после удачной премьеры, вытащила из-под матраса заветную папочку с экземпляром нашего Альбома — этот-то экземпляр вскоре все-таки и пересек границу верхнего мира и ушел в намеченном направлении.

«События, произошедшие буквально через два дня после вручения нами письма по адресу,— писали все семеро гномов уже наутро в ЦК на имя тов. Зимянина,— обескуражили нас». «Обескуражили», конечно,

было сказано для красного словца, подобные жалостливые обороты входили в правила игры.

Ответ последовал незамедлительно — вежливый ответ. Многочасовой обыск прошел на квартире Красавчика, который к тому времени уже покинул комнату с камином, хотя еще и посещал время от времени Красивую Даму. У него вынесли все до единой бумажки, включая пачку чистой бумаги. И две пишущих машинки.

Случился обыск и в пристанище Плешивого. Он со своей белоснежкой квартировал тогда в пещере, служившей мастерской одному старому-старому гному, занимавшемуся резьбой по дереву. Это был обаятельнейший мудрый гном, много повидавший на свете такого, что и в дурном сне не приснится. Он видел пересылки, тюрьмы и лагеря, едва не умер под Воркутой, куда зеки тянули тогда в лютые заполярные морозы железнодорожную ветку. И при всем том это был веселый гном, не без жовиальности даже, и это в его-то возрасте. Он с великолепной лихостью охмурял барышень на бульваре, годившихся ему во внучки, не предлагая, конечно, платной любви, а лишь свое безмерное обаяние. Некогда он дружил с Платоновым, а когда Красавчика впервые привел к нему один гном — автор кабацких песен, старик старательно вырезал на деревянной чурке профиль Владимира Владимировича Набокова. Он был иной породы и прежнего поколения, крепкий, как столетний пень, при этом нежный, добрый и романтичный. Лагерные привычки переплавились в нем в какую-то уютную безбытность, и, помнится, только в его мастерской было так вкусно закусывать водку квашеной капустой.

той, беря ее щепотями со старой, расстеленной на рабочем столе газеты.

Так случилось, что, когда Они ввалились, в мастерской самого Плешивого не было, только его белоснежка и сам хозяин-скульптор.

Как стало известно об обыске Красавчику — нам невдомек. Но так или иначе он среди ночи примчался в пещеру скульптора на такси. Они уже ушли, конечно, — как ни странно, но в те годы соблюдались известные формальности, в частности, по правилам обыска не могли проводиться позже одиннадцати вечера. В данном же случае это правило было нарушено: обыск шел почти до трех ночи. А под утро явился и Плешивый: как оказалось, почуяв неладное, он в мастерскую не пошел, а ошивался до утра где-то поблизости, опасаясь ареста. Вчетвером они дождались открытия магазина, купили водки и весело позавтракали. Здесь одна психологическая странность: никто не чувствовал никакой подавленности. Даже белоснежка Плешивого, вскоре ставшая его женой — на всю жизнь. И это при том, что дело принимало скверный и опасный оборот.

По-видимому, в воздухе уже витало предчувствие крутых перемен. И уже сам этот запах надвигающейся новой эпохи будоражил и пьянил. Кроме того, каждый поодиночке, быть может, и впал бы в грех уныния, но нас было семеро, и одновременно много больше, и было еще живо единство всех складывавших вольные песни, всех, алкавших меда Поэзии, гномов тогдашнего подземного мира.

Счастливчика не обыскивали. Но в те же дни к нему в дом явился участковый милиционер. Не искушен-

ный в играх с властью Счастливчик открыл на звонок дверь. Увидев перед собой сапоги и мундир, он грохнулся в обморок. Быть может, это был микроинфаркт, на один шагок приблизивший его к ранней смерти. Очевидно, Счастливчик несколько отступил назад, оторопев от вторжения, потому что, падая, разбил локтем стекло кухонной двери. И здесь нужно понять, сколько мужества он проявил, присоединившись к Плану,— при его-то незащищенности и чувствительности. Счастливчик был воистину смелый гном. Гном чести, если можно так сказать.

И начался форменный фарс. После всех этих обысков и визитов власть принялась играть с гномами в странную игру. С одной стороны, некие инстанции, призванные управлять песенным процессом верхнего мира, вызывали зачинщиков, подписавших первое письмо — Красавчика, Крота и Плешивого, — на беседы о сладкопевчестве. Кстати, на одной из таких бесед кромешный номенклатурщик — позже его сняли за взятки — воскликнул: «Да как же вы хотите устроить Площадку Гномов, когда среди вас есть такие, как Раввин?!» Тогда-то мы и узнали, что Раввин все это время лукавил — он не оставлял своего намерения свалить, хоть нам об этом и не говорил. Кстати, вся эта история с Альбомом ему очень помогла, и уже через месяц он был выкопан из подполья, к которому, кстати, принадлежал номинально, и к его восторгу выдворен в несколько суток именно туда, куда так рвался и куда его, как выяснилось, уже два года как не отпускали. А ведь он рассказывал, что отказался от своего намерения сам, по зрелому размышлению. Впрочем, никто не затаил на него

обиды, и остальные гномы устроили ему веселые и дружеские проводы.

Так вот, с одной стороны, верхние власти вели с гномами мирные переговоры. С другой — каждого гнома по отдельности то и дело вызывали на допросы сами знаете куда. Допросы эти сводились к профилактическим беседам, в которых угрозы чередовались с посулами. Одному пообещали не перекрывать кислород, то есть не лишать средств к существованию, — он подвизался внутренним рецензентом одного толстого журнала. Другому посулили, что он никогда, ни при каких обстоятельствах не покинет пределов родины и не увидит забугорного мира. Третьему сделали комплимент, что, мол, мы знаем, чего стоят ваши песни, и высоко их ценим, но, что делать, вы попали в наше поле зрения, когда были еще совсем юны, и у вас очень плохое досье. И так далее. Все эти беседы кончались одинаково: каждого из гномов просили подписать бумажку вполне анекдотического содержания. Называлась эта филькина грамота, не имевшая никакой юридической силы, Протокол Предупреждения. Суть сводилась к тому, что такой-то предупрежден и в случае повторения соответствующих деяний им будет заниматься прокуратура. Кое-кто из гномов подписал, кое-кто отказался, впрочем, никакого значения это не имело.

Не вызывали для бесед только Раввина, и это понятно, поскольку тот уже находился со всем семейством в славном городе Вене, столице вальсов и Моцарта, а заодно перевалочном пункте для соплеменников Раввина, навсегда покинувших здешние кущи. Многие из них никогда не покидали черты оседлости и везли с со-

бой на всякий случай кошерных кур, которых ощипывали в туалете венского отеля. К полному недоумению хозяина приюта. И Раввин теперь беседовал с совсем другими ведомствами, ибо вовсе не стремился попасть в Вечный город, а глядел только за океан. Впрочем, впереди его ждал и другой вечный город, в который, как известно издревле, ведут все дороги. И, отдохнув на берегу моря, Раввин попал-таки в антиподы. Забегая вперед, скажем, что мечта его сбудется, он будет жить в Нижнем Манхэттене на улице Саус-энд. И из окна его квартирки ливинг-рум, плюс бед-рум, плюс половина ванной, душ по-нашему, будет видна статуя Свободы.

И сбудется мечта каждого из гномов, вот только у некоторых лишь после смерти.

Потому что, если точно знать, о чем мечтаешь, наверняка достигнешь цели. И каждый получит свое, только ему предназначенное. Не сомневайтесь — каждый. И это с какой-то стороны даже грустно, ибо несбывшиеся мечты красивей и пронзительней любых состоявшихся надежд...

И не вызвали Придурка, что было странно, но очень скоро логично объяснилось.

В некотором смысле План гномов сработал. И они действительно вышли на свет Божий, кое-что получив в верхнем мире, Впрочем, не совсем то, на что надеялся Крот. А именно то, чего каждый из них в душе так опасался. Впрочем, во всем есть своя солнечная сторона, и песням гномов оказалась обеспечена бесплатная и добротная реклама. Ибо к ним стали захаживать забугорные корреспонденты, а их творения петь забугорные голоса.

Умер Счастливчик.

Первым из семерых.

Его сердце не выдержало, и он умер на улице от сердечного приступа. Он шел по улице, нес под мышкой свое последнее сочинение — машинистке для перепечатки. Вдруг зашатался, прислонился к стене ближнего дома, медленно сполз вниз и сел на грязный тротуар. Самые пронзительные минуты его сорокалетней жизни вспомнились ему. Он выронил рукопись, и листочки полетели по улице, как маленькие белые флажки, и раскатился по мостовой бесценный бисер. Это была счастливая смерть настоящего Гнома. И Белоснежка невидимо миру поцеловала его в остывающее чело.

Красавчик и Придурок, едва узнав о случившемся, проникли в опустевшую квартиру Счастливчика — его тело уже свезли в морг — через балконную дверь. Она оставалась открытой, потому что стояла страшная июньская жара, и многие люди, слабые сердцем, отдали тогда Богу души. Красавчик и Придурок залезли в эту богемную нору, каким-то образом подобравшись с крыши, и с болью еще раз оглядели убогое жилище своего покойного друга. Они оба его очень любили. И их сердечки щемило, когда они новыми глазами, в отсутствие — уже окончательное — хозяина, смотрели на нищую обстановку, две продавленные тахты — по одной в каждой комнате, размалеванные одной из сумасшедших поклонниц, самодеятельной художницей, стены, треснутый чайник с заплесневелой заваркой на кухонном столе, полуразрушенное кресло, наконец, в котором и сочинял Счастливчик, по-женски поджав ноги. Письменного стола у него никогда не было. Зато было пиа-

нино, на котором Счастливчик не умел играть, но в которое исправно засыпал махорку, чтобы предохранить струны от нападения моли... Прослезившись, Красавчик и Придурок дрожащими руками собрали тетрадки с бисером Счастливчика и ушли тем же путем — через балкон. Они хотели опередить сами знаете кого, с тем, чтобы сохранить этот тощий, но бесценный Архив. Тщетно, вскоре всё, что они с волнением и риском унесли в пещеру Придурка, прихватили на обыске сами знаете кто. И Красавчик потом сто раз пожалел, что не отвез архив Счастливчика в свою берлогу. Потому что в тот же день, сразу после второго обыска, Придурка забрали.

На отпевании и на похоронах Счастливчика было всего пять гномов. Из семи. Но была огромная толпа тех, кто, оказывается, любил его при жизни. Остается удивляться, сколь одиноко живут некоторые гномы да и некоторые загорелые люди, тогда как по смерти у них обнаруживаются толпы поклонников, поклонниц, неутешных бывших любовей, друзей, учеников. Где, где мы все бываем, когда ленимся лишней раз поднять телефонную трубку? Где мы, когда те, кому так плохо без нас, немо называют наши имена?

Отпевание проходило в большой церкви на Ордынке. Под треск свечей в клубах ладана тянулась мимо гроба нескончаемая очередь желавших проститься. И каждый из пяти гномов приложился губами к бумажке на лбу покойного. Счастливчик был на себя не похож, ведь стояла жара, а в морге не было кондиционера. Но даже оплывшее его лицо, синее, страшно измалеванное пошлым гримом, излучало, казалось, покой, будто и в

смерти не покинуло его чувство радости, что ему удалось завершить свой Труд и свой Путь.

В том, что арестовали Придурка, прослеживалась некоторая симметрия: самые слабые певцы из всей семерки были примерно наказаны: Раввина выслали, Придурка посадили. Причем оказалось, он тоже подвирал своим товарищам по Альбому, отправляя тайком от них за бугор свои песни явно политического содержания. В них он осмеивал святыни верхнего мира, и главное его святотатство было в том, что он оплевывал мумию главного фараона, а заодно высмеивал и его самого.

Вот на него-то гномы рассердились. Ибо светлое и бескорыстное их дело Придурок профанировал, к тому же подставляя остальных. Теперь в новом свете представились его рвение при подготовке Альбома и постоянное заискивание — особенно перед Кротом и Плешивым, гнева которых он явно побаивался.

Только Красавчик проявил к арестанту жалость и сочувствие, и вместе с актрисой Придурка носил тому передачи, на последние деньги покупая сигареты и сухую колбасу. Актриса вязала заключенному мужу теплые носки. После посещения узилища актриса и Красавчик шли в шашлычную на Таганке, где и надирались. Что ж, тюремная очередь к окошку, где раз в месяц принимали передачи, и впрямь грустное место.

Придурок тем временем сидел в двухместной камере, почитывал книги из тюремной библиотеки, всегда славившейся своим богатством, и писал эротическую повесть по заказу какого-то торгаша, соседа по камере, с которым к тому же всякий вечер играл в шахматы. На

здешней суровой пище он похудел, постройнел и забыл про свой гастрит. И все бы хорошо, когда б не допросы, на которых Придурка неприятно поражало равнодушие следователя. Как будто тот не мог взять в толк патетичность ситуации, не понимал, что перед ним на стуле герой и борец за нашу и вашу свободу. Следователь был ленив, несведущ, лжив. То он говорил по телефону с кем-то о содержании заказов к празднику: мол, зачем мне сливочное масло, нельзя ли заменить на балык. То врал, что ему нужна служебная машина, потому что они работали весь день с видеоаппаратурой. Неправда же, ни с какой аппаратурой они не работали. Эти будничность следствия, приземленность самого дознавателя были самым неприятным переживанием Придурка за все время ареста. К тому ж за шахматами и во время трапез торгаш донимал его страшными рассказами о жизни на зоне: того, по его утверждению, дернули из лагеря на допрос. Впрочем, когда Придурок сломался, торгаш из его камеры исчез.

Чтобы закончить эту тему, скажем, что дело кончилось для Придурка плачевно — не в физическом, а в моральном плане. Из Лефортово его через несколько месяцев выпустили, но плата за свободу была велика: он написал покаянное письмо, которое в день его освобождения было напечатано в одной из столичных газет. Писал Придурок приблизительно так: «Объективно оценивая спетое мною, по поводу шумихи за бугром могу сказать, что мои сочинения не представляют настоящей художественной ценности». И еще: «Сейчас, движимый глубоким раскаянием, я мучительно продолжаю размышлять о причинах, приведших меня на

преступный путь... Проще всего объяснить это моим легкомыслием, результатом дурных, но, надеюсь, поддающихся исправлению черт моего характера: цинизма, болезненного самолюбия, желания выдвинуться на видное место с минимальными затратами сил, не брезгуя порой недостойными средствами». И еще: «Я принял участие в подготовке Альбома... Начавшийся вокруг него шум сразу же привлек внимание забугорных корреспондентов... И сладкий дым тщеславия застил мне глаза». И все в таком духе. Следует ли удивляться, что никто из гномов больше не подавал Придурку руки. Разве что Красавчик, чувствовавший некую вину за то, что вовлек тщеславного Придурка в исполнение опасного Плана, зародив в его глупой душе неоправданные надежды и не прислушавшись вовремя к собственным сомнениям. И уж вовсе понятно, что гном, публично отрекшийся от своих песен, больше ничего никогда не спел. Впрочем, вскоре он ушел в верхний мир, занялся компьютерами и на этой ниве добился впечатляющих успехов. Однако все перечисленные им самим качества его характера остались, конечно же, при нем, разве что еще более раздулись. Но гномы его больше никогда не видели.

А потом умер Крот.

У него обнаружился рак. Скоротечный. Впрочем, когда он был еще в больнице, Плешивый навестил его. И был приятно удивлен, что, едва он отворил дверь, из постели Крота прыснула медицинская сестричка, на ходу оправляя подол халата. «Ну, дело идет на поправку»,— подумал Плешивый. Но это было не так. Крота действительно скоро выписали, но не потому, что он

выздоровливал. Ровно наоборот. Крот еще убедил жену свозить его на пару недель в деревню и там пытался писать. И чуть разругался, как убеждала его жена. Но это были одни утешения. Когда они вернулись домой, стало особенно заметно, как за эти две недели он почернел и усох. Его навестил Красавчик, принеся по просьбе Крота бутылку. Сам Крот теперь, конечно, не пил, но любил, когда у его постели трапезничают товарищи. Едва войдя в кабинет Крота — с огромным старым письменным столом, с коллекцией курительных трубок на затянутой сукном столешнице,— Красавчик не смог подавить выражения жалости и испуга. Так он был поражен видом Крота, которого месяц не видел. «Что, я так изменился?» — спросил Крот с грустной улыбкой, и Красавчик никогда себе так и не простил, что не смог тогда сдержаться... У постели Крота неотлучно сидели то Скульпторша, то Живописец, держались стойко. А когда Кроту стало совсем худо, они сидели у его одра вместе, обнявшись, поддерживая одна другую. Крота вообще очень любили дамы. И друзья. Его нельзя было не любить. И, может быть, поэтому страшная его болезнь воспринималась как что-то несусветное, как вопиющий нонсенс, как высшая несправедливость. Ведь он поздно начал петь и, по сути, лишь ступил на заповеданный ему Путь, стремительно совершенствуя свое искусство.

Он умер в декабре, и его опустили в промерзшую землю. И остались из семерых гномов лишь трое. Потому что один пребывал уже на совсем других берегах, второй предал свой дар и, замолчав, покинул мир гномов, а двое переселились в ту местность, о которой ос-

тавшимися неведомо: сохранятся ли там их маленькие храбрые души? Переселились туда, куда мы все обращаем свои тайные молитвы, когда нам все-таки становится страшно и когда мы втихомолку плачем, в минуту слабости не справляясь с нахлынувшим вдруг одиночеством.

И в такие минуты лишь Белоснежка тихо и незаметно гладит нас по волосам, и эти прикосновения напоминают нам, что мы еще не до конца прошли путь и выполнили долг призвания. И что никакие жертвы не напрасны, если они принесены — дару, от которого, раз его получив, ни один гном не вправе отступить...

А потом в верхнем мире вышли перемены. И наступили другие времена. И гномы повылезали на поверхность, с тем чтобы запеть свои песни полными голосами. Можно сказать, это — счастливый конец этой маленькой сказки.

Но в жизни всегда имеет место эпилог.

Поэмы Крота вышли посмертно в свет, и были признаны, и переиздавались. И имя его осталось в анналах.

К Красавчику не раз обращались за интервью иностранные корреспонденты — из Италии, из Франции. Всякий раз Красавчик ожидал, что интересуется им он сам, но корреспонденты были ярко выраженной гомосексуальной ориентации и говорили с Красавчиком только о Счастливчике, жадно цапая самые мелкие подробности. Постепенно Счастливчик стал классиком жанра, и лет через десять выйдет хороший двухтомник, в первом из томов которого — авторские тексты, второй сплошь со-

стоит из воспоминаний о нем. Есть там и эссе Красавчика.

Круто изменилась и жизнь Пруссака. Он пел в Германии и за океаном, получал престижные премии и немалые гранты, о нем писали статьи и монографии. Он выпустил свои песенники в нескольких странах. Верхний мир рукоплескал, но сам Прусак оставался тем же: милым гномом с бородкой, в очочках, улыбочивый. И продолжал носить все тот же поношенный колпачок. И по старой памяти рисовал карандашом — для себя и друзей. Но никаких крокодилов, конечно, больше не ваял.

И вот такая картинка: Красавчик и Плешивый, встретившись в Нью-Йорке — они порознь читали лекции в университетах разных штатов, — переночевали в квартирке Раввина в Нижнем Манхэттене. Вспоминали, конечно, времена Альбома, который, к слову, давно был издан в той же Америке. Поудивлялись под шведский «Абсолют», что вот ведь могли ли они во времена своей подпольной жизни и помыслить, что будут вместе выпивать в городе Большого Яблока в непосредственной близости от Тринити Чердж, прямо напротив Уолл-стрит, оказавшейся много уже московской Петровки.

Они сидели до зари, и Раввин рассказывал о своем житье-бытье. Он говорил, что написал бы роман с продолжением для «Нового Русского Слова» — о жизни большой американской компании. Он, брызжа слюной, рассказывал старым друзьям, что порядки у американцев хуже и гаже, чем в их давнем верхнем мире тех времен, когда гномы еще были в подполье. Что доносительство цветет пышнее, чем при любом тоталитарном

порядке. Что подсиживание беспощадно. Что увольняют за мельчайшую провинность. И что, чем больше ты получаешь зеленых денег, тем сильнее стресс. Ведь ты весь в долгах, кредитах, моргиджах. Но пересесть на более дешевую машину ты не можешь — твое положение в фирме определяет все, вплоть до марки автомобиля.

Красавчик и Плешивый лишь посмеивались. И втайне радовались, что в свое время гнали от себя самую мысль взять да и махнуть на все рукой. И уехать за океан вслед за Раввином.

Рано утром невыспавшийся, хмурый хозяин поспешил на службу, а гости вышли на берег с видом на статую Свободы. Они говорили о том, что, пока пребывали в антиподах, с родины то и дело доходили неутешительные вести. Будто бы Белоснежка совсем пропала. Якобы попала она в дурную компанию и водит дружбу с одними литературными критиками. И толстые журналы печатают лишь одного знаменитого затворника, тоже некогда из гномов — старшего поколения. А кое-кто, только приехав из России, шептал, будто Белоснежку видели лежащей в канаве; была она облеванная, без своего нарядного передника, и цвет лица у нее стал совсем серый, уж трудно сказать, как такое могло случиться.

Но мы, конечно, всему этому не верили.

Глава VIII

ДРАГОЦЕННЫЙ БИСЕР

Некто борзопишущий с берегов Иордана не так давно в своей довольно претенциозной книге позволил себе писать о Жене Харитонове. Не столько как о писателе, но — о судьбе Жени, которого он не знал и знать не мог. Попутно он пнул и меня — точнее текст, посвященный памяти Жени, который вы сейчас прочтете. Выглядело это так: «Николай Климонтович в несколько приторном эссе пишет, что тот хотел быть только певцом, только поэтом, а отношение его к речи совмещало в себе черты аскетического служения и внеморального упоения словесной нотой». И далее, вскользь упомянув мое имя, этот культуролог, прощаясь с Нарциссом, довольно беззастенчиво слово в слово, уже безо всяких ссылок и экивоков, пересказывает мое прощальное слово, произнесенное некогда над жениной могилой. Перечитывая это слово, сегодня я обвинил бы себя скорее не в приторности или сентиментальности, а в намеренных красотах стиля, неуместных в этом жанре. Впрочем, может быть, критик это и имел ввиду. Ну, да что написано... Я хочу адресовать вас к подлиннику, но нынче, по прошествии стольких лет, снабжу некоторые места того давнего некролога комментариями сегодняшнего дня. Итак: Уединенное слово (1).

«Представляю бледного и худого мальчика с бледно же голубыми глазами, робкого и аритмичного, неуклюже шествующего в своем кукольном бархате, маленько-

го принца среди серо одетой голодной провинциальной толпы первых послевоенных лет (2). Он держится за руку бабушки, принаряженный, в вышитом воротничке на залатанном платье. Единственный человек, с которым тепло и защитно: «Когда бабуся меня заставляла мыться, а там в ванной были черные тараканы, и бабуся увидела, как я горько плачу, и тоже села со мной, и заплакала, и стала просить прощения», — но сейчас рядом с ним она похожа на нянюшку, ведущую барчука в оперу. Эта сталинская помпезная сибирских нищих лет опера, где Садко взаправдашно опускался под воду к детскому ужасу толпы, не раз откликнется в нем. Это был театр, завораживающий сказкою; в этом зрелище был особый имперский шик, блеск ампирной роскоши. На первый взгляд парадоксально, но именно на этой почве — знойной томности сталинского искусства и египетского величия зрелищ — вырос дикий цветок, «кривой кактус по принятым у нас понятиям», его артистичнейшего дарования, его эгоцентрического писательства.

Только стиль порождает стиль.

«Вспоминаешь, что первый раз в жизни подъем от искусства был ни от чего другого, как от таких же песен в школе, я был мальчиком для вызывания слез на конференциях сторонников мира, мой голос звенел, как колосок», — записал он после столкновения с одним из нынешних апофеозов, в которых безухий либерал не слышит ностальгической теплоты в мишуре византийской пышности.

Человек вкуса и слуха, он восхищался «грубостью, с которой не сравнится никакая тонкость» (3); эстет, он умел наслаждаться вульгарностью (4). Отсюда многие

мотивы и имитации в поздних текстах, уличное, чуждое его комнатной натуре, непристойное и богохульное (5). Сызмала свидетель стиля баснословной эпохи, когда дома культуры строились, как греческие храмы, роскошно-топорна была музыка массовых действий, а гайдоровская проза дышала густой мистикой, он писал незадолго до смерти: «Какой есть Закон и Порядок Родины, такой он и должен быть. Порядок для людей художественного взгляда всегда фатально прав. Мы привязаны к нему: в нарушении его нерв наших художеств». Зная слабость свою как силу, минутами он любовался тупой мощью, как слабостью, чувствуя в ней что-то созвучное, иррационально родственное. Без сомнения, есть тайная и прочная связь его рафинированной герметичной поэтики, его стремления к утонченной созерцательности с грубым и бравурным, чуждым всякой потаенности, выпяченным и лобовым, чем так богато дарила его наша жизнь.

Другая сторона, другая чеканка его детского времени: негa. Холеная Тарасова, мхатовские крепостные джентльмены, с которыми изменяли мужьям жены сталинских соколов, небрежно-манерная, с голосом простуженным, будто на рысаках в мороз каталась с шампанским, Шульженко, шикарная цыганка, наложница из трехэтажного терема над прудом во Внуково, Церетели, киноленты для народа, снимавшие в Алма-Ата в годы войны, с героями, испытывавшими самолеты, теперешними космонавтами, и героинями, поющими в опере, южный акцент самого паши, наконец (6). «Я с детства ранен Пантофелью-Нечецкой. Только женщины могут спеть про розу и взор прекрасным женским голосом.

Только музыка родит музыку. И немного жизни». Ранить в сердце можно только через сладкопевчество, и именно сталинское время преподнесло ему первые чистые образцы золотоголосия. Потом он будет числить себя только и исключительно поэтом, Певцом, понимая служение Слову как ношение вериг и сладостно-мазохистское перебирание четок, как подвижничество с одной стороны, с другой — как вседневное изящное вышивание одного нескончаемого тончайшего узора, выведение одной невозможной сладчайшей ноты. Но, окончив школу в пятьдесят восьмом, семнадцати лет он решает стать актером кино.

Юный провинциал с иноческим лицом и бледными руками одержал победу над приемной в кино комиссией. Рассказывал, что первые три года обучения книг вообще не читал, полагая, что книжность уводит от непреднамеренного лицедейства, и это была попытка отказаться от рубашки, что всего ближе к телу. Когда же разочаровался в актерстве, вернулись книги и появились собственные стихи. В Москве, в библиотеках, в старых журналах, в подстрочных ссылках, в рукописях и изустных преданиях, проступали очертания мира, который, казалось, канул как Китеж: кузминской, ремизовской, вагиновской прозы, крученыховской юродивой зауми, обэриутских стихов, «Улисса». «Первые пять лет я писал одно стихотворение по месяцу — по два; а один раз писал стихотворение полгода — и при том только им и занимался, не гулял, не отвлекался, а только полгода его сочинял и кое-как сочинил. И никому бы того не рассказал, что у меня с таким трудом выходит. А сейчас восхищаюсь, какие у меня были незаурядные задат-

ки к усердию». Здесь не преувеличение, он добивался невероятной филигранности в своих ранних стихах, по духу акмеистских (7).

О своем первом осознании себя в сфере чувственного, внезапном, как обморок, без долгих потных рук и подглядываний сквозь процарапанные замазанные окна, кажется, письменно нигде не упоминал. Но это и было именно то «немного жизни», что оплодотворило его голос (8). Позже свои счастливые минуты избегал описывать, нерв его узоров на любовную тему всегда был в неразделенности или ненайденности, в любовном томлении. Но то художество, в жизни его многие любили. Другое дело, он фанатически отстаивал свои упорные одинокие занятия, тишину и затворничество, прогоняя от себя любящих, понимая плоское счастье как мышьяк, сторонясь его и из того уже извлекая дополнительную выгоду для писательства, приправу одиночества (9). Его ожидала благополучная карьера и в актерстве, и в академических занятиях, и на преподавательском поприще, и в театральной режиссуре, но он упорно отклонялся от любой прямой, поворачиваясь к одному ему видимой цели, для иных — призрачной, с точки зрения внешнего успеха — вполне безнадежной. От каждого своего занятия он брал необходимое для потаенного пути, во всем достигая, впрочем, скорых и блестящих результатов, но, словно выполнив мирской долг, с нескольких шагов возвращался на свою единственную стезю, сберегая силы для Служения. «В чем назначение жизни такого (именно) человека. Назначение своей жизни он видит в художестве (словесном). И укрепляется тем, что в самом Ев. От Иоанна вначале было

Слово. И Слово было Бог. И вот его жизнь, его богатство, его успехи тоже в слове, а ни в чем другом».

К 73-ему году, когда мы познакомились, от ранних своих стихов он уже отказался, сохранил лишь сценку с пассажиром. Написаны были «Духовка», «Вильбоа», вольные стихи, два рассказа в лицах и короткая пьеса «По канве Рустама». Он писал с двадцати лет, но по собственному его летоисчислению шел лишь четвертый год истинно его творчества. Таким образом, его книга, целиком выверенная и выправленная, окончательно скомпонованная за несколько месяцев до смерти — результат двадцати лет труда. Он отыскал для нее заглавие ироничное и болезненно-горькое, кажущееся единственно подходящим к его жизни и писаниям — «Под домашним арестом».

«Духовка» — первая проза (10)»...

Не стоит и говорить, что он был слишком многомерен, чтобы питаться духовно хоть в чем-либо — ненавистью. Он был смиренен, но не всеяден. В жизни он был одарен легким и счастливым остроумием, без сарказма и издевки, способностью яснодушной улыбки, скорее печальной. Он не был эллином, но человеком аскезы и спиритуальности. Светло-плотские тона были чужды ему, описания плоти служили ее преодолению. Видимо плоти потакая, обнажая грубые формы похоти, он деромантизировал ее, оборачивал против самой себя. Гомосексуализм его был во многом формой воздержания, всякое отступление от обета целомудрия наказывались самым чудовищным препарированием самого летучего греха, на который эллинский взгляд посмотрел бы как на сладкий поцелуй (11). Дрожь и

упоеание он испытывал лишь в служении, в подвижничестве, в самоотказе — здесь связь между его гомосексуализмом и христианскими мотивами. Он не был моралистом, но все брызжущее, извергающее, пахнущее здоровым потом, пьяное и рожаящее было чуждо ему, воспринималось как не подлинное, но как игровое — и здесь исток направленности немногого витально стихийного в нем — в театральное. В плоть можно лишь играть, как можно притвориться женщиной, но смысл любви — в самопознании, в духовном возвышении, в эгоцентрической конденсированности: «Послышалось, как открывают дверь, и вошел я. Я подошел ко мне, мы обнялись сухими осторожными телами, боясь быть слишком горячими и налезть друг на друга, такие близкие люди, знающие друг про друга все, настоящие любовники. У нас с ним было общее детство. Только не может быть детей».

Сталинское детство, перипетии любовные, считанные бытовые ситуации — вот, собственно, все, что перенес он на свои страницы непосредственно из жизни, в то время как о многих и многих сторонах не упоминал. Важнейшая — его христианство, о котором писал косвенно. Православие было для него национальной верой (но не знаменем — он не был славянофилом), неразрывно связанной со всем русским (12). Он любил церковные книги, превосходно знал Библию, перечитывал молитвословия и жития святых, все было созвучно его положению в жизни. пышная атрибутика византийского культа, сам церковный запах, потрескивание свечей — все шло его ощущению мира, его этическому пониманию красоты: «Все что в бусах, бумажных

цветах и слезах, все у Бога под сердцем». Красота — незащищенная одухотворенная слабость, красивая не тем, что с ней будет, тем, что есть.

В его углубленной жизни, в его облике, в его отношениях с людьми были несомненные черты избранничества, святости. И при его смирении, при его глубоком осознании гордыни как смертного греха, многозначны его слова: «Должно было произойти немало событий в мире культуры и в мире природы, чтобы образовался я. Ко мне надо относиться суеверно» (13).

Свою смерть он описал точно: «Вдруг вам после всех болезней внезапно так хорошо, как не бывает и не может быть, и это не в человеческих силах вынести. Вся дрожь лучших минут вашей жизни, всей вашей невозможной юности, все соединяется в одну немыслимую минуту, как при первой любви, как при надежде на новую, как перед первым приездом в Москву, как во всевозможные случаи, бывшие в жизни — все в одну минуту, этого невозможно выдержать, ваше сердце разрывается и вы умираете. А все, кого вы любили и кто любил вас, вспомнят из разных концов земли и из-под земли о вас в эту минуту». Он умер жарким июньским днем на улице Пушкина в Москве от сердечного приступа, неся к машинистке листки только что законченной пьесы (14). Листки рассыпались по горячему асфальту. «Ничто так точно не показывает человека, как то, как он умер и в какой момент». Он умер, дописав то, что хотел, «после уже нечего будет писать», окруженный учениками-актерами, учениками-музыкантами, учениками духовными и литературными, к которым причисляю себя. Стертое словосочетание «сын своей

эпохи» по отношению к нему звучит двусмысленно. Он был сыном ее по некоему закону отталкивания. Поэтика его зрела не на гребне жалкой полусвободы послесталинской поры, воспитавшей многих и многих и старших его по возрасту, а под грохот и стук фараонова войска. Это не случайное замечание. Брутальный бард, скончавшийся годом раньше и бывший лишь двум я годами старше, Высоцкий, тоже начался там же, в сталинской коммуналке, в городском перенаселенном дворе, куда возвращались амнистированные, принося барачные песни и лагерные апокрифы. Первый взял от тех лет внешний стиль, шик и негу, второй — достоинство и боль. Они были полярные двойники, всенародный и вненародный певцы, и недаром с юности были знакомы (15), недаром некоторые стороны их судеб общие. Даже литературная безвестность первого рифмуется со всеохватной славой другого, равна ей, взятой с обратным знаком.

Певцы умирают в конце эпохи. Сегодня они умерли, и эпоха кончилась. Мы вступили в новое время. В неведомых новых днях другие будут читать Книгу, на которую закон и нравы нашего дома наложили арест, и трудно надеяться, что когда-нибудь арест будет снят. Сквозь призму редкостного артистизма книга эта показывает нас и время наше не похожим не на один способ. Автор перерос и преодолел свою эпоху, его книга адресована в будущее (16).

Комментарии

(1) Я начал писать этот текст, уже похоронив Женю, в начале июля 1981 года на даче в Усть-Нарве. Под рукой у меня был машинописный, самиздатский том Жениного «полного собрания» — собранная им перед смертью и чуть не год им самим скрупулезно перепечатававшаяся на машинке книга «Под домашним арестом». Позже этот экземпляр — один из четырех, существовавших в природе, пропал на обыске. Пропали и два других. Но один, слава Богу, был сохранен, кажется, Виктором Ерофеевым. Именно он-то и стал основой двухтомника, сделанного Сашей Шаталовым: Евгений Харитонов, «Слезы на цветах», «Глагол», 1993. Эта книга прославила Женю далеко за границами столь недоброжелательного некогда к нему отечества... Едва я написал первые строки этого эссе, ночью мне приснился — хочется сказать явился — Женя и печально произнес: только не профанируй. Он не снился мне больше никогда.

(2) Здесь к слову: Женя мало писал собственно о провинции, о городе детства Новосибирске, разве что в «Духовке». Но много вспоминал. И до смерти общался с друзьями своей новосибирской юности, с поэтом, Ваней Овчинниковым, с которым некогда он сидел за одной партией и которого называл «нашим Хлебниковым». С Ниной Садур, которая и по сей день называет Харитонova «учитель». Впрочем, литературные связи у него вообще были причудливы и разнообразны: он дружил и с сокровенным эзотериком Владимиром Казаковым и, скажем, со ставшим с годами именитым политиком и экономистом Евгением Сабуровым, писавшим и стихи и невероятно непечатную прозу, что-то в духе раннего

Мамлеева. В памяти выжило даже название его вполне порнографического по тем временам романа «След рыбы», посвященного, как видно из названия, никому иному, как Христу. Точнее, следу Христа в мире.

(3) Кажется, вслед за Оскаром Уальдом, которого Женя очень любил, а De Profundis цитировал наизусть, он мог сказать, что, мол, цирк — последнее прибежище тонкого человека. К слову, именно Женя обратил мое внимание на замечательную фразу Уальда из этого письма его маленькому лорду, постулат любой любовной науки, звучит она приблизительно так: я не жалею, что простился с тобой, я жалею, что прощался много раз.

(4) Скажем, он эпатировал знакомых, утверждая, что может часами слушать песенки Аллы Пугачевой. И, что главное, действительно слушал. Впрочем, Олег Осетинский утверждал, что застал как-то Максима Шостаковича за прослушиванием Тухманова, и Шостакович был очень сконфужен и оправдывался.

(5) А вот это было уже чистой воды игрой с темой. Женя был человек верующий, набожный, можно сказать — богобоязненный. Для него кощунство было, конечно же, само испытанием и хождением над бездной. После его смерти в его квартире я обнаружил машинопись, о наличии которой у него ничего никогда не знал. Неведома мне была и сама книга. Это оказалась прилежно отстуканные на «Эрике» десять печатных листов «Райской лестницы» игумена Синайской горы Преподобного Иоанна по прозвищу Лествичник. В наше время книга, изданная с благословения Патриарха, продается в любой храмовой лавочке, это же была копия с изда-

ния Оптиной Пустыни 1908 года. Этот самоучитель анахоретства Женя, судя по истрепанности страниц, прилежно изучал. И, будучи нищ, не поспешил, ибо перепечатка эта, разумеется, имела в те времена свою и немалую цену. Загадочным образом, после десятка переездов с квартиры на квартиру за прошедшие двадцать лет, эта машинопись сохранилась. Она и сейчас передо мной. Увы, никаких маргиналий я не обнаружил: Женя читал для себя, не для цитирования.

(6) Когда я писал это эссе, мне еще была неизвестна замечательная книга Паперного-младшего «Культура-2». Это книга преимущественно об архитектуре сталинской поры. И в ней есть множество увлекательных наблюдений. Скажем, такое: многие «сталинские» дома в столице снабжены открытыми галереями с резными украшениями, совсем мавританскими, будто мы и впрямь живем в знойном климате. Конечно, в этом было что-то от магии, заклинания, от мечты о яблонях на Северном полюсе.

(7) Я кое-что читал из этих стихов случайно, Женя не любил их показывать. И в свой итоговый том не включил. В двухтомнике «Слезы на цветах» во втором томе приведены в виде приложения несколько верлибров, также Женей не включенных в «собрание». Но и это — более поздние вещи, не те стихи, о которых он рассказывает. Жаль, но составители обратились ко мне тогда, в 93-ем году слишком поздно, я мог им подсказать адрес. Насколько мне известно, рукописная тетрадка ранних, позле ВГИКовских, регулярных по форме, Жениных стихов сохранилась в семье актера Игоря Ясуловича, учившегося с Женей на одном курсе. Впрочем, быть

может, даже из академических поползновений и не стоило нарушать волю автора, от этих стихов раз и навсегда открестившегося.

(8) Я колебался, приводить ли здесь его рассказ, но счел, что это важно для понимания Жени. Существенно то, что до девятнадцати лет он как бы ничего не знал о своем гомосексуализме. И, кажется, влюблялся в девушек. Его «солнечный удар» случился в общежитии ВГИКа. По его рассказу, он был в душе, а напротив — его сокурсник и сверстник. Кабинки были открытыми. И их бросило другу к другу. Банально, но важно то, что он не проходил в раннем возрасте стадии совращения, что его любовный опыт начался естественно и — солнечно.

(9) Он как-то сказал мне, собравшемуся жениться: «Мы все равно пребудем одинокими». И добавил: «Хоть от одиночества я иногда по ночам плачу». То есть одиночество было осознанным выбором, и не в гомосексуализме, конечно, дело, есть сколько угодно многолетне счастливых гомосексуальных пар. Но возможность жить не одному он просто-напросто отметал, по своему это обосновывая: «Семейство однополых невозможно. Это дело блядское». В смысле — однополая любовь. Но это, конечно, литературный пассаж — дело было не в «блядскости», а именно что в литературе, от которой ничто не должно было отвлекать.

(10) Издатель художественного журнала, двуязычного «А-Я», выходявшего в Париже, Алик Сидоров, с которым мы некогда тесно дружили, задумал в 85-ом году издавать и литературный «А-Я». Об этом предприятии я буду еще говорить подробно, сейчас же скажу только, что посоветовал ему тогда напечатать Харито-

нова в первом же выпуске — оставшемся, впрочем, единственным,— и это была буквально первая публикация Жени. Если не считать казуса: некогда Женя попробовал по наводке друзей-переводчиков зарабатывать переводами. И первый же опыт удался — в его переводе в «Дружбе народов» были опубликованы вирши какого-то калмыка, что ли. С тех пор Женя проникся непередаваемым отвращением к занятиям этого рода... Так вот, «Литературное А-Я» лежит передо мной. Его обложка выполнена так: укрупненный, цвета сепии машинописный текст без начала и конца строк. Это — фрагмент «Духовки»... И здесь я выпущу кусок, посвященный собственно текстам Жени, своего рода краткую рецензию. В 1981 году этот кусок был актуален — тексты Харитоновы тогда были известны лишь узкому кругу друзей. Теперь они общедоступны. Приведу лишь такой отрывок: «После «Романа» он освободился от опаснейшего искуса, вернее, от нескольких: вычурной акмеистской, традиционных форм повествования, от связанности внутри верлибра. Но путь этой свободы смертельно опасен для поэта, через словесные руины и неформленный черновик он ведет к жуткой и притягательной бездне чистого листа, неписания ничего, безмолвия, а то, что это называют наоборотным термином «формализм», есть чистое недоразумение». Дело в том, что этот самый роман представлял собою именно что руины черновика, опыт написания текста «вслед за кистью», максимально непреднамеренного сочинительства. Именно после этого опыта Женя стал тем Харитоновым, который нынче и стоит на пьедестале.

(11) Вот здесь и впрямь есть некоторая приторность, понятная, если вспомнить атмосферу тех лет. Отношение общества к гомосексуализму. Более того, существование соответствующей уголовной статьи. Поэтому сегодня комментируемые пассажи выглядят с одной стороны как уступка общественному мнению, как попытка смягчить безжалостную прямоту его гомосексуальных описаний. На самом деле в жизни Женя не был таким уж аскетом, и плотская любовь была вовсе не чужда ему. Вспоминается такой случай. Я жил в Паланге, в Доме творчества художников — это была ранняя весна 79-ого года. И в разговоре по телефону описал Жене, как в Паланге пусто, прелестно и чисто. И что договорюсь о номере и для него. Женя приехал. Но скоро стал томиться — писать он мог только дома, я же что-то сочинял. И ухлестывал за молодыми художницами. Наблюдая за моими похождениями, Женя как-то обронил со вздохом: Бог мой, как у вас все просто...

(12) Православие и «русскость» были в моде тогда у столичной интеллигенции, пробавляющейся, так сказать, потаенной духовностью. Лапти на стенах, самовары по углам, прялки,— все эти внешние знаки соответствовали зачастую сугубо поверхностной религиозности и «народности». Всю эту атрибутику можно было застигнуть и на кухнях вполне «западнических», либерально-диссидентский дух не входил с православием ни в малейшее противоречие. Стоит ли говорить, что Женя никаких прялок не собирал и в лаптях не ходил. Но, ученик Леонтьева, Харитонов был к тому же и антисемитом, что уж ни с каким либерализмом в ряд не шло. Конечно, антисемитом не в бытовом, животном,

охотнорядском смысле, скорее в розановском, т. е. в плане культурного бытия. Так что букет в его текстах был для образованцев той поры чрезмерно пахуч: анти-семитизм, православие, гомосексуализм. Это мало кто мог переварить в советской России двадцать лет назад.

(13) И, как ни странно, еще при его жизни нашлось немало людей, которые к нему так и относились. И, чтобы портрет его был и впрямь не сусален, нужно сказать, что, осознавая свое избранничество, он позволял себе, подчас, лукавую игру с адептами. Скажем, ему явно льстило поклонение женщин — а вокруг него было немало дам и девиц, истошно в него влюбленных. Чуть богохульствуя, впрочем, замечу, что и Христос позволял омыwać себе ноги поклонницам. К тому ж их волосами. А вот о чем я тогда не написал, так это об обостренном чувстве чести: гордыня Жене была чужда, но — никак не гордость.

(14) Это была пьеса «Дзынь». История ее написания такова: Евгению Козловскому и мне кто-то заказал сделать для детского театра инсценировку «Городка в табакерке» Одоевского.. Инсценировка у нас никак не шла. Материал казался абсолютно мертвым и не сценическим. Мы сообщили об этом Харитонову, сказали, что от идеи отказываемся. Тем более, что мы тогда азартно сочиняли пьесу о кино, так никогда нигде и не поставленную, хоть и приобретенную, кажется, Министерством культуры. Он промолчал. А через неделю прочел нам обворожительное сочинение, в котором были сохранены все признаки сказки Одоевского и с тончайшим юмором, с прелестным флером артистичнейше поданы разнообразные гомосексуальные аллюзии.

«Дзынь» — это был пароль, с помощью которого общались молоточки-любовники. Ну и т. д. Забавно, но именно эта пьеса стала первой публикацией Харитоновы в СССР: в 88-ом году, через семь лет после написания ее и смерти автора, пьесу напечатал журнал «Искусство кино».

(15) Упомянуть в этом эссе Высоцкого отчасти было делом конъюнктуры — это имя было обожествлено и по законам первобытной партиципации, перехода свойств одного предмета на другой при касании, знакомство с Высоцким было счастливым фантомом... Впрочем, тогда я удержался от подробностей, а нынче приведу их. Женя очень рано, еще студентом, заполучил в Москве двухкомнатную кооперативную квартиру. Для этого он фиктивно женился на москвичке, а деньги дали родители. Со своей фиктивной женой он долгие годы поддерживал самые приятельские отношения, и даже посвятил ей стихи: «А мы то думали — она безумная...». Но это к слову. В одной группе с Женей во ВГИКе училась на актрису девушка, в которую был влюблен Высоцкий и которая стала позже его женой и родила ему двоих сыновей — Люся Абрамова. А поскольку заниматься любовью влюбленным было решительно негде, то Люся приводила жениха к Жене, с которым очень дружила. А поскольку у Жени было на две комнаты две тахты, но одно одеяло, то Высоцкий как-то принес свое. Этой исторической реликвией позже, пользуясь жениным гостеприимством по схожим мотивам, укрывался и я. И, кто знает, может быть старший сын Высоцкого там же, на этой тахте, и был некогда зачат... Впрочем, все это наводит на некоторые размышления более инте-

ресного толка. Странно, но вдруг, в какие-то моменты истории на небольшом пяточке сходятся первостатейные таланты, которым суждено в будущем стать легендами. В том же общежитии ВГИКа недолгое время Женя жил в комнате вдвоем с Шукшиным. Дружил с Пашей Лунгиным. Вот и Высоцкого у себя ютил. И в то же самое время другие пяточки не с меньшей концентрацией честолюбцев всходов вовсе не дали. Здесь есть какой-то закон Провидения: лучшую свою рассаду Бог, видимо, высаживает кучно, для удобства ухода и полива, что ли.

(16) Быть провидцем некрасиво. Да и провидец из меня вышел неважный. С одной стороны я утверждал, что эпоха кончилась. И впрямь, не прошло и четырех лет мелькания генеральных секретарей, как пришел Горбачев и впрямь — эпоха переломилась. С другой, слишком недоверчиво я вглядывался в будущее: оно состоялось много раньше, чем грезилось. И уже через полтора десятка лет после смерти Жени — для него наступило. Тексты его были растиражированны, переведены на иные языки, и слава его нынче только ширится. На наших глазах он бронзовеет и превращается в классика. Кстати, был тому знак: еще в год его смерти не без моего участия «Нью-Йорк таймс» опубликовала сообщение о его смерти в Москве.

ГЛАВА IX

ВТОРАЯ ПЕЧАТЬ

Не раз уж говорил: прихотливо мы жили под Советской властью. Да и сама власть была куда как причудлива. Судите сами: все мало-мальски заметные неофициальные литераторы — или ставшие таковыми, хоть эти чаще всего сваливали — печатались за границей, в толстом «Континенте», в «Вестнике РХД», самые отчаянные в «Гранях», в «Ковчеге» Николая Бокова, в тоненьком журнальчике Александра Глэзера «Стрелец», в издательствах — в парижской «Имка-пресс», у Марии Васильевны Розановой в «Синтаксисе», в Германии в «Посеве», в Америке в «Ардисе», пописывали в «Русскую мысль», давали интервью голосам. Здесь надо упомянуть и «Аполлон» Михаила Шемякина, богатый альбом, вышедший в Париже году в 78-ом. Это было разовое издание, причем большую часть места занимали тексты односельчан составителя — ленинградцы, но были и москвичи, скажем, «лианозовцы» Сапгир с Холлиным, Сева Некрасов. Упомянуть нужно и «Муллетту», которую издавал в том же Париже Володя Котляров, по артистическому псевдониму Толстый. Это было издание эмигрантски-полемическое и провокационное, направленное во все стороны, и против «Континента», и против супругов Синявских, и против Солженицына. Но печатал Толстый и авторов из метрополии, в Москве его представителем был Игорь Дудинский. Кстати, Толстый

издавал какое-то время и газету «Вечерний звон», но это уж был по преимуществу авторский орган.

Участие во всех этих изданиях было повседневностью, бытом лишь нескольких десятков, пусть сотни, людей, преимущественно московских,— в провинции царили столь кровожадные нравы, что на этом фоне столица могла сойти за вегетарианку. Но и того было достаточно для создания постоянного сигнала официозу — сигнала противостояния. Конечно, круг читателей тоже был не широк. Но важно было скорее не содержание, а сам звук и факт.

Надо сразу сказать, что печатанье там для КГБ почти никогда не оставалось незамеченным и гарантировало своего рода волчий билет. С приличных работ такие отчаянные головы удалялись и в контору регулярно вызывались. Кое-кто и садился, конечно.

Подход КГБ был дифференцированным.

Во-первых, учитывался не только сам факт забугорной публикации, но степень одиозности в совдепии того или иного эмигрантского органа печати. Скажем, страшнее «Посева» и «Граней», органов НТС, Народно Трудового Союза, зверей не было. Считалось, что НТС сотрудничал в свое время с фашистами, что, собственно, имело место быть. Более того, верхушка функционеров НТС до сих пор состоит из бывших нацистских офицеров, стареющих зубров антикоммунизма, и я имел удовольствие в Нью-Йорке однажды ужинать кое с кем из них в немецком пивном ресторане, но об этом — в своем месте. Выход книги в «Посеве» — какой бы она ни была, хоть по ботанике — вполне мог высветить немалый срок в местах не столь отдаленных. Кажется,

именно публикации в органах НТС и вменялись Бородину, одному из немногих подпольных писателей в России, которому дали насидеться всласть, на полную катушку уже в 70-х. В этот ряд стоит поставить и любые контакты с радио «Свобода», которое, как оповещали советские газеты, вещало на деньги ЦРУ. Как ни странно, и это была суцая правда. С той поправкой, что ЦРУ, скорее всего, в своем бюджете этих денег не имело, и выделялись соответствующие средства Конгрессом.

Сортом ниже в антисоветской табели о рангах шел «Континент». Это сейчас, в Москве, он пенсионерски слабосилен и инвалидно беззуб, тогда же, в героическую эмигрантскую пору — гремел в Париже, а в СССР читался до полного замусоливания страниц и истасканности обложки. И это при весьма посредственном литературном уровне журнала: Владимир Максимов был неважным редактором, как и его правая рука Наталья Горбаневская, но хорошим менеджером, умел доить различные фонды; рсассказывали, какой у него великолепный кабинет в редакции, и как он ездит на виик-энд в Брюссель пить трапистское ягодное пиво, в чем знал толк; это сейчас можно лишь улыбнуться, зная размах «новых русских». над этим. Думаю, как это ни покажется странным, КГБ и этот фактор учитывал: уровень громкости и степень нахальности той или иной вещи и самого издателя вызывало у тогдашних солдат партии соответствующий ответ. Скажем, за лирику, с замиранием души и тела передававшуюся в «Континент» через знакомых, лучше — дипломатов, могли лишь вызвать да пожурить. А вот за прозу, в которой ожившая Фани Каплан вытаскивала мумию из Мавзолея, Евгения Козлов-

ского подержали-таки месячишек пять в Лефортово — пока ни осознал ошибок и ни покаялся.

Публикация же в каком-нибудь «Стрельце» и во все оставлялась без внимания. О ней мог ваш куратор лишь к слову упомянуть в профилактической беседе, устроенной по иному поводу. Так, чтобы показать осведомленность. К тому же, вряд ли на «Стрелец» была у КГБ подписка, свою антисоветскую библиотеку приходилось им собирать по крохам, крысятничая на обысках, так что большую часть так необходимой им для работы литературы поставляли им сами, донельзя разгильдяистые, диссиденты.

Иное дело радио — перехват работал как часы. Помнится, мне и моему начальнику по Комитету литераторов, руководитель профсоюза деятелей культуры, под чьим надзором состоял этот самый Комитет, некто Моисеев, после истории с «Каталогом» зачитывал, пыхтя и потея, толстенную пачку текстов, записанных с разнообразных голосов — все наши интервью и донесения западных корреспондентов. Потел он от обилия незнакомых слов и сложноподчиненных предложений. Прочитать все это мне и моему начальнику ему поручил КГБ, и здесь тоже черточка тех времен: КГБ как бы сдал меня на откуп моим коллегам-литераторам, так было некогда и с метропольцами. Когда мы вышли на улицу от вспотевшего культурного профбосса, мой начальник только и сказал: такие вещи надо затевать, когда у них там начинается бардак. Вот ведь мудрый был человек: Брежнев и впрямь совсем скоро помер. И бардак у них там был уж не за горами, получивший название, как мы помним, перестройка; мудрый и смелый, недаром в

прошлом флотский офицер. Жаль, запомнилась его фамилия: подлецы помнятся по именам отчего-то лучше, чем хорошие люди. Так что никаких оргвыводов тогда не произошло, и ниоткуда меня не исключили...

Я уж не пишу здесь о журналах самодельных, своеручных, как говаривали в век Екатерины. Литературные делались больше в Питере — по той причине, наверное, что печататься за бугром для питерцев было куда более стрёмно, чем для москвичей. Скажем, в Питере были и «37», и «Часы», и «Обводной канал», и популярный «Митин журнал», что издавал позже ставший многолетним сотрудником «Свободы» Митя Волчек. В Москве выходили в самиздате все больше политические издания, такие как христианский «Надежда», за что Зоя Крахмальникова получила срок. Или с философским уклоном «Поиски», за который редактора выперли из совдепии. И здесь кстати сказать, что, не заводя дела по «Каталогу», КГБ для получения ордеров на обыски, пристегнул нас к делу как раз «Поисков», на что было несколько призрачное основание: Володя Кормер был не только из нашей компании, но печатался некогда и в «Поисках» тоже...

Вот на таком-то фоне, и это ли не чудо, в Москве существовало два журнала, делавшихся здесь, но издававшихся там.

Первый назывался «Бронзовый век» — по-немецки выходил под именем «Новая русская литература», по-немецки потому, что издавался в университете австрийского курорта Зальцбург при кафедре славистики. В Москве составлял от корки до корки и редактировал журнал Владислав Епишин, известный под псевдони-

мом Слава Лён. При разнообразном к нему отношении в около литературных кругах, следует признать, что Слава — по-своему титаническая фигура и персонаж, без которого совсем неполон был бы московский пейзаж неофициальной культуры, как это изящно называлось в среде адептов.

По образованию Лен — геолог, выпускник МГУ, кандидат соответствующих наук. Но геологию он давным-давно забросил, если не считать того, что писал за деньги кандидатские, а подчас и докторские диссертации лицам кавказской национальности, чем и кормился, помнится, в 80-ые годы, когда и издавался «Бронзовый век». Вокруг него тогда обретались множество безвестных молодых авторов — помню трагически погибшего недавно, разбившегося на своих «Жигулях», обретавшегося в последние годы в «Коммерсанте», Мишу Новикова, автора изысканных психоаналитических политических портретов и нынче заместителя главного редактора «Независимой газеты» Олега Давыдова, замечательного прозаика Игоря Шевелева. Но были представлены на страницах журнала и зубры подпольной словесности — Сева Некрасов, смогисты, Пригов, всех не припомнить. Кстати, впервые в типографском виде текст покойного Жени Харитонова появился именно в «Бронзовом веке», хотя самиздатские «37» и «Часы» уже успели что-то харитоновское тиснуть.

Собственно программы у редактора не было. Но политики Лен сторонился — зачем, впрочем, австрийским славистам была политика. Журнал целиком или частично переводился на немецкий — в порядке русистских упражнений, и гонораров, разумеется, не платил.

И все равно к Лену стояла длинная очередь сочинителей.

Но даже не «Бронзовый век» был главным детищем Славы. Оставаясь вполне вменяемым, он обладал характером воистину маниакальным, а если избежать медицинской терминологии, крайне энергическим. И столь же буйной неумной фантазией. Когда мне приходилось отвечать на sacramентальный вопрос любопытствующих — восхищенно-испуганный: кто он, этот Лен? — я обычно приводил такой пример.

У меня был знакомец — весьма успешный книжный график. Он страдал запоем — ну как Саврасов. Полгода он мог прилежно зарабатывать деньги, сочиняя плакаты и этикетки для спичечных коробков, деньги за это платили тогда немалые, пил он при этом только совершенно ядовитый квас с хреном — напиток собственного изготовления. Но в один прекрасный день его точно гром поражал. Он раскручивал над головой кейс с эскизами и закидывал далеко в кусты. Отправлялся в Военторг, нынче разрушенный городским головой, где с черного хода — здесь его хорошо знали, его мастерская была неподалеку, на Суворовском, — приобретал ящика три-четыре водки, и грузчики доставляли добычу в его подвал. Когда к концу третьей недели запас иссякал, а истощенный хозяин мастерской не мог двинуться со своего топчана, в его подвал приезжал приятель-психиатр и отвозил художника в санаторное отделение больницы имени Кащенко. Чтобы подпустить в эту главу несколько рифм, добавлю, что в отделении этом художник-график изредка полеживал одновременно с Венедиктом Ерофеевым. Так вот, выйдя из Кащенко в

очередной раз, график, прихлебывая хренный квас, рассказал мне — заметьте, повествование приобретает прямо-таки готический характер «Рукописи, найденной в Сарагоссе», — рассказал об одном своем сопалатнике, с которым частенько встречался в стенах скорбного лечебного заведения. Это был инженер с двумя высшими образованиями, кандидат наук и милейший малый. Страдал он невинным и безопасным для окружающих компенсированным маниакальным психозом. Он просыпался в четыре утра, до пробудки писал в сортире роман, после завтрака сочинял докторскую диссертацию, неизвестно какую по счету, после обеда под одеялом сочинял песни, к тому же был изобретателем и имел ряд патентов. В тот раз санитары его взяли на улице: увидев, что автомат не дает детям, опустившим в него трех копеечную монету, газированную воду с сиропом, добряк пожалел огорченных малышей, положил автомат ниц на асфальт и принялся за ремонт...

Лён вел себя в некотором смысле схожим образом.

Всегда аккуратнейше причесан, в непременной бабочке, он был полон самых фантастогорических проектов, некоторые из которых на диво скептиков оказывались впоследствии состоятельными. Скажем, он собрал всю «московскую» часть циклопической антологии русской подпольной поэзии, которую готовил, лежа на диване в подвале на Брайтон-Бич, знаменитый питерский эксцентрик и поэт Константин Кузьминский, и с ним мы еще встретимся во время экскурсии на Брайтон в одной из следующих глав. Кузьминского все звали Кока, а ан-

тология называлась «Голубая лагуна», по имени местечка, где находился американский университет, снабжавший предприятие деньгами. Как это ни удивительно, но двенадцать томов из запланированных десятков вышли — в роскошном цветном супере, на прекрасной бумаге.

В свое время Лен был старшим другом смогистов. Когда СМОг уже вошел в историю, Слава утверждал, что состоял в обществе самых молодых гениев, но это натяжка — он был старше их всех лет на десять. Впрочем, при всей своей многогранной деятельности, он всегда числил себя прежде всего поэтом, и сейчас, когда пишутся эти строки, устроил собственный вечер чтений, где предъявил восхищенной публике четырнадцать сочиненных им поэтических книжек. И изданных, замечу, хоть нынче этим, впрочем, никого не удивишь.

Другой важной линией многолетней деятельности Лена была опека Венедикта Ерофеева. Сюда входило: улаживание конфликтов с нервической супругой Вени Галей, собирание случайных почеркушек и оброненных замечаний, то есть архивная работа, купирование заповев и пребывание в роли верного друга, соратника и оруженосца. В этой деятельности, впрочем, у Славы был солидный конкурент — Наталья Шмелькова, по иронии судьбы — тоже геолог, и именно ее перу принадлежат превосходные комментарии к записным книжкам Ерофеева, в своем роде не уступающих «Опавшим листьям», автора которых Ерофеев, безусловно, всегда держал на мушке, недаром некогда написал блистательное эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика».

И здесь, пользуясь случаем,— другого в этой книжке не представится — я скажу пару слов о Веня. Я увидел его впервые в гостях у некоей Люды Кузнецовой, державшей в единственной своей комнате в коммуналке — причем в том самом доме на Садовом, где находилась булгаковская «нехорошая квартира»,— «салон». Кстати, богемные «салоны» тех времен — отдельная тема, их было несколько, самый известный — у Ники Щербаковой на Патриарших, впрочем, это описано у меня в «Дороге в Рим»... Веня произвел на меня ошеломляющее впечатление. Он был трезв, красив, прям, пордтянут, высок. И держался не безнадменности — как истинная «звезда». Он и был звездой — дело происходило в середине 70-х, а «Москва — Петушки» стали бестселлером самиздата в 69-ом, если мне не изменяет память, год в год с «Николаем Николаевичем» Юза Алешковского. Мне и в голову не могло прийти, что он меня запомнил — застолье продолжалось не больше часа. Потом мы виделись пару раз мельком, у того же Лена, кажется. В начале 80-х, как раз в год горбачевской борьбы за повальную трезвость, на улице Дзержинского, аккурат напротив московского ГБ, где мне только что вернули груды награбленного на обыске и две машинки, открылось «литературное кафе». Оно просуществовало полгода, но в начале своего недолгого существования стало сразу же меккой богемного литературного братства. И вот зайдя как-то в это самое кафе, прокуренное, битком набитое, на какие-то чтения, я заметил, как из другого конца зала кто-то машет мне рукой. Это был Веня, уже с трубкой в горле — у него был рак гортани, и его оперировали. Когда я протиснулся к его столу, он

опустил свою длинную руку вниз, глянул лукаво и вытащил полбутылки водки. И вручил мне — как приз. Это был воистину царский подарок по тем временам — к тому ж, учитывая, что сам он пить не переставал. И я до сих пор не знаю, чем заслужил эту честь...

Но вернемся к Славе. Не обошел своим внимание неуёмный Лен и Православную церковь. О степени его религиозности мне решительно ничего не известно, хоть и знакомы мы два десятка лет. Но уже в начале 80-х Слава готовился праздновать тысячелетие крещения Руси, когда еще само Политбюро не ведало о грядущем торжестве. О всей грандиозности задумок Славы я не в силах дать представление: фигурировали альбомы, сувенирные издания духовной лирики, антологии опять же, какие-то мероприятия экуменического толка, всего никак не перечесть. И что бы вы думали: вся эта деятельность имела замечательный результат — Лён, точнее товарищ Епишин, получил от Церкви подряд на геологическое обоснование грядущей реконструкции Свято-Данилового монастыря. И, надо думать, прилично заработал. А сама Церковь, собравшись с последними силами, отпраздновала свой юбилей, обойдясь без славинных столь многогранных сияющих идей.

Другой его, как нынче выражаются, проект, причем долгосрочный,

был связан с модной тогда игротехникой по методике Щедровицкого. Слава принялся организовывать так называемые организационно-деятельностные игры, причем отчего-то первоначально на студии Горького. Что открыло, разумеется, еще одну грань его дарования — Слава взялся писать сценарии, причем пачками. Сцена-

рии не пошли. Но своей игротехникой он тоже долго и пристойно зарабатывал. И даже бросил старую жену, женившись на молоденькой. Была это ни кто иная, как нынешняя экстравагантная телезвезда Света Беляева-Конеген, которую Слава похитил из ее родительского дома — дома, к слову, его друзей — в Ленинграде, одарив ею столицу. Здесь скажем, что к своей чести, победокурив, Слава к жене Лие вернулся.

Чтобы закончить это краткое житие Славы Лена скажу, что нынче он все тот же, крах империи не произвел на него никакого впечатления и совсем не изменил: он теперь при Михаиле Шемякине организует Интернациональный институт исследований — не скажу чего. Всего. И что-нибудь из этого выйдет, будьте покойны.

Все эти причуды характера редактора, если вернуться к «Бронзовому веку», несомненно отражались на содержании журнала. Когда это было нужно, Слава умел проявлять известную сдержанность — скажем, собственные стихи он публиковал все же не во всяком номере, а через раз. Сам по себе журнал не вписал новой строки в историю отечественной словесности и теперь может восприниматься лишь как исторический штрих. И важен этот пример лишь для описания странной атмосферы, которая царил в столице империи накануне падения СССР. Атмосферы, в которой могли происходить вещи, которых не бывает.

В отличие от «Бронзового века» художественный журнал «А-Я», который делал в Москве под псевдонимом Алексей Алексеев Алик Сидоров, а выпускал в Париже Игорь Шелковский. Алик явно войдет в анналы, он был грандиозной фигурой на фоне ранних 80-х. И тоже

был склонен к фантазмагорическим по размаху проектам. Но в отличии от Лена, Алик был всегда корректен и джентльменски сдержан.

Во-первых, он делал деньги — и немалые — просто из воздуха. Он и меня учил, удивляясь моему безденежью, что деньги лежат под ногами. Причем приемы добывания средств у него, как у Бендера, всегда были относительно честными. Алик вообще был всегда осторожен и умен. У него были золотые руки. Заглянув в комиссионку на Октябрьской площади, он мог купить плохонький малахитовый письменный прибор и кривую бронзовую лампу без колпака. Колпак приобретался в другой комиссионке. Через день он сдавал на ту же Октябрьскую шикарную старинную лампу на малахитовой подставке в отличном состоянии. И получал за нее сумму, втрое превышающую затраты на компоненты.

В прошлом он был профессиональным телеоператором. И снимал понемногу скрытой камерой материал, который с удовольствием приобретали западные студии: молодежные тусовки, службу в церкви, крестный ход, все то, что ни одному западному корреспонденту не позволили бы снимать. Здесь, конечно, он шел уже по грани закона, но и тут умудрялся ее не преступать. Я не говорю уж о том, что многие годы дружа с художниками, зная всех живописных вдов Москвы и тайные ходы в комиссионке, он был обладателем роскошной коллекции, которой позавидовал бы и Талочкин. Один штрих — у него был отменный и в немалом количестве Филонов — для широкой публики давно потерянный и сгинуваший, но Алик, конечно, знал ему цену.

Кстати, у нас с ним был один сюжет, связанный с Церковью. У Алика был знакомец-протодьякон, закончивший Академию, но священнического сана не получивший. Звали его Владимир Русак. Это был крестьянский парень, простоватый, смешливый, никогда не отказывавшийся пропустить рюмочку. Но, по-видимому, истово верующий. Долгие годы Русак проработал в «Журнале Московской Патриархии» и имел доступ к архивам. Мало помалу он знакомился с документами по истории Церкви при Советской власти, и «сердце его уязвлено стало». Тайком, скрывая это даже от своего духовника, он принялся писать фундаментальный труд по истории церкви после знаменитого декрета Ленина 18-ого года. В результате 1980 году появилась книга, которая была издана за границей, а русское издание которой 93-го года лежит передо мной. То, что Володя Русак, безусловно, был честолубцем, не должно никоим образом затенять тот факт, что он был едва ли не самым последовательным церковным диссидентом 80-х, во всяком случае — самым эффективным: его книга содержит бесценный и кропотливо систематизированный материал, и мне самому неоднократно приходилось обращаться к ней, как к изданию энциклопедическому. Так вот, этот самый Русак после того, как в 83-ем году был изгнан из лона Церкви за явно антисоветские проповеди — он служил в Витебске, — подался в бега и направил уже из подполья письмо, обращенное к делегатам 4-ой Генеральной Ассамблеи Всемирного Совета Церквей в Ванкувере. Жест широты, так сказать, солженициновской.

Оно, конечно, Контора не заставила себя долго упрашивать, Русак был отловлен в одном из своих московских схоронов и получил семь лет по 70-ой статье — «изготовление и распространение». Но поскольку письмо огласил-таки на Асаамблеее, не взирая на протест советской делегации, сам епископ Кентерберийский, срок пошел Русаку на пользу: вскоре он вышел по горбачевской амнистии, как политзаключенный, быстро укатил в Штаты, где получил-таки сан священника и какое-то время служил в одном из православных приходов. Сейчас он в Москве, и, надеюсь, простит меня за поневоле неполный и торопливый о нем рассказ...

Памятна сценка: Алик привел дьякона-подпольщика ко мне, в Бибирево, где у меня тогда была скромная однокомнатная квартира, и проделал странную манипуляцию. На лестничной площадке он отодрал жестяной подоконник, засунул под него какие-то листки и замуровал их, водворив жесть на место. Я не протестовал, хоть и понимал, конечно, что в придачу к счётам КГБ ко мне по поводу моей собственной литературной подпольной деятельности, мне только письма епископу Кентербирийскому в деле и не хватает. Но борьба есть борьба, и настоящие революционеры должны быть связаны круговой порукой. За что мы тут же и выпили с Аликом и его протодьяконом.

В другой раз тот же Алик привел ко мне Володю Альбрехта, фигуру вообще фантастическую. Тогда вся диссидентура сходилась на семинары Альбрехта на тему «Как вести себя на допросе». У докладчика была компактная и изящная теория, постулаты ее были зашифрованы легко запоминающейся аббревиатурой, ко-

торая уж затерялась за давностью. Помимо этого Альбрехт, служа, почему-то на автобазе,— по образованию он был инженер,— неумно боролся с начальством против приписок. Кончилось это и для него печально: при всем своем правозащитном инструментари, он сел-таки, ибо следователям было ровным счетом наплевать на всяческие постулаты и аббревиатуры, сколь угодно изящные. Выйдя из лагеря, Альбрехт тоже эмигрировал. На меня в тот вечер он произвел впечатление милейшего чудака и идеалиста, хотя я и выслушал внимательно его лекцию — как раз тогда меня таскали в КГБ по делу Козловского. Исторической точности ради скажу, что Альбрехт не пил ни грамма...

Но это все — вставные эпизоды, лишь рисующие фон, на котором создавался «А-Я».

Надо сказать, что средства для этого нужны были немалые. Сами художники лишь предоставляли свои картины, с которых Алик делал слайды. Поскольку в СССР ни одно художественное издание не выполнялось на уровне «А-Я», то и слайды должны были быть высококлассные. Критические статьи тоже были высокого уровня, но писались, разумеется из энтузиазма. Впрочем, поскольку все тексты переводились на французский, то журнал привлекал внимание и парижских галерейщиков, и издателей художественных журналов. И некоторые материалы перепечатывались, и это уже приносило какие-то деньги.

Чтобы быть кратким, скажу лишь, что такие художники, как Инфанте, Чуйков, Булатов, Кабаков, Соков, Косолапов, некоторые другие, стартовали в смысле международной известности и последовавших позже

умопомрачительных продаж именно благодаря «А-Я». То есть журнал оказался в высшей степени эффективен. Но — к литературе.

В 1984 году Алик поделился со мной еще одним проектом: он решил затеять постоянное литературное приложение к «А-Я». И в 85-ом, когда уже были выпущены шесть номеров художественного «А-Я», первый номер «Литературного А-Я» вышел в свет в Париже. Впрочем, он оказался единственным и последним: просто отпала надобность в такого рода изданиях — в СССР пала цензура.

Как я уже говорил, обложка была исполнена в виде машинописи — это был отрывок из рассказа Харитоновва «Духовка». И Харитоновым же открывался свод текстов, и впервые здесь были напечатаны «Слезы на цветах» — вещь крайне важная, содержащая кредо автора, человеческое и литературное, недаром издатель Саша Шаталов много позже взял это название для всего харитоновского двухтомника.

Предпослано этому выпуску было эссе Михаила Берга, прекрасного писателя и умницы. Сегодня очень занятно читать такие, например, пассажи: «Положение современной русской литературы парадоксально: она отлучена от читателя». И дальше: «Ситуация абсурда невыносима только для позитивистского сознания: для тех, кто привык балансировать на краю пропасти,— это не труднее, чем скользить по меловым линиям на полу». Здесь много и подпольного солипсизма, но много и верного — мы и впрямь балансировали над бездной, и абсурдным было существование и того же «Бронзового века», и появление цитировавшегося издания. Во вре-

мена посвежевшие, Берг стал с мужественным подвижничеством издавать в тогда еще Ленинграде собственный журнал «Вестник новой литературы», где, не скупясь, печатал и вашего покорного слугу. Но это уж позже, позже, над пропастью не во ржи и не рядом с тюрьмой, а над долговой ямой...

Сколько человек прочитали тогда «Литературное А-Я» — два, десять, сто. Это не важно. Существенно, что процесс шел, тогда же в Париже, у Марии Васильевны Розановой, вышла первая тоненькая книжечка Владимира Сорокина «Очередь», тогда же и в том же городе мы печатались в «Стрельце» Александра Глезера, «Континент» публиковал поэтов «Московского времени» — Кенджеева, Гандлевского, покойного Сашу Сопровского. Закваска была качественной, тесто перло из-под крышки советской цензуры. И в Ленинграде уже набирался альманах «Круг» — под неусыпным наблюдением КГБ, но составленный сплошь текстами авторов до того не печатавшихся, от умершего недавно Кривулина, Драгомощенко, знаменитой в литературных кругах Лены Шварц до неизвестных юных сочинителей. И, безусловно, все это сыграло немалую роль в последовавших вскоре ошеломительных переменмах — переменмах участи всех пишущих на могучем русском языке.

Глава X

И ЗАНАВЕС ЗАКРЫВАЕТСЯ

Театр — хамоват, нахрапист, привязчив.

Это связано с его происхождением — балаганным, площадным.

Именно поэтому он зачастую так стремится быть интеллигентным, казаться благородным. Как всякий выходец из низов.

И в этой простонародности, дворовости, в самой продажной театральной природе, — прелесть. Любой сочинитель меня поймет. Не все же спать с профессорскими дочками и членками творческих союзов: в какой-то момент постигает непреодолимый соблазн — снять на улице.

Для меня театр наступил, когда я попытался написать о неверной возлюбленной. Отчего-то, никогда не писавший пьес, я дерзнул сочинить комедию — совсем как гном Красавчик. Видимо, именно в этом жанре, представлялось мне, мстить ловчее и хлеще. Впрочем, Бальзак использовал для той же цели жанр романа. Причем, я не только понятия не имел, как пьесы пишутся, — я и в театр-то ходить не любил...

Отчетливо помню, что впервые меня привела в театр, во МХАТ, бабушка. Никак нельзя сказать, что она была завзятая театралка, но — училась-таки в юности в частной театральной школе в классе самого Вахтангова, о чем, впрочем, в этой книге я уж поминал. С ранним браком эта ее блажь закончилась. Впрочем, у бабушки в

те годы было немного возможностей посещать в театр — и годы были для нас нищими, и жили мы в Химках.

Давали «Синюю птицу». И вся эта метерлинковщина с антропоморфными Огнем и Хлебом произвела на меня, шестилетнего, самое пугающее впечатление. Как и цвет самой птицы, несколько неестественный и гнетущим. Вот так, с молодых ногтей, прорезается у нас тяга к здоровому реализму, стоит вовремя почитать какого-нибудь Верхарна, еще лучше — Д'Аннуцио. Позже, в мои лет семь-восемь, в ТЮЗе мне преподнесли «Три клена» или как там это называется, и моя стойкая неприязнь к театру лишь утвердилась. Все-таки, мы были детьми кинематографической эпохи: «Веселые ребята», «Чапаев», какая-то душеразрывная, кажется, «Фатима» грузинского изделия, какой-то душегубный «Мамлюк», где брат убивает брата, и все это в самом нежном возрасте. А тут, видите ли, сентиментально шелестящие Клены...

Скажу сразу, что первое и едва ли не единственное театральное потрясение я пережил уж в зрелом возрасте, году в 76-ом, когда Роберт Стурюа привез в Москву из Тбилиси «Кавказский меловой круг». Но, начиная со второсортного, — как в юности с «портвейна» 777, — вы рискуете увязнуть в предмете, и в какой-то момент я совершенно на пустом месте театром заболел-таки. И потратил на него лет десять жизни.

Та, первая, комедия имела броский заголовок «Отъезд героя, или Мама, это не ты подожгла лес?» — последнюю фразу, озвученную детским голоском, я услышал в вечернем автобусе, который проезжал мимо иллюминированного парка, — в английском переводе

ее дали как *Away With the Hero*, хорошо, обратно на русский непереводаемо и очень точно по сути. Эта первая пьеса из десятка с лишним сочиненных — единственная напечатанная, в «Каталоге», в «Ардисе» и единственная же не поставленная, хоть и исполнялась на голоса, в одном нью-йоркском театре офф-офф Бродвей, что тоже — честь для московского театрального графомана.

Вторая, идущая до сих пор у Рейхельгауза в «Школе современной пьесы» на Трубной и выдержавшая более ста представлений — она ставилась и в нескольких провинциальных театрах — называлась «Без зеркал», — и с ней связан мой ранний театральный опыт. В связи с ней возникают в памяти знаменитые театральные и вне театральные фигуры.

Едва написанная, с пылу с жару, она попала в руки Олега Ефремова, который тут же — дело происходило еще на Тверском бульваре — определил ее на Малую сцену. Шел 86-ой год. Тут-то и начались чудеса. Ставить ее взялся совершенно беспособный к театру ефремовский выученик, не хочу называть его имени, а на главную роль Олег Николаевич назначил одну из своих прим Татьяна Лаврову, великолепную актрису с глазами, лиловыми как у таксы, с повадками усталой тигрицы. Оттого назначил, что для нее в ту пору у него не было ролей. Позже я написал о ней эссе для сборника «Писатели об актерах», делали такие в издательстве «Искусство», называлось оно, кажется, «Натянутая тетива». Но как ни рыскал я по своему архиву — сборник как испарился...

Здесь два слова о пьесе, поскольку по театральной неопытности я собственными руками заложил в нее камень преткновения. Речь в этой грустной комедии — о драме возраста. Двадцатилетний мальчик соблазняет на даче сорокалетнюю с лишним бывшую любовницу своего отца. Причем он ее жестоко разыгрывает, но это все литература, суть сценического дела в том, что по ходу пьесы, во всяком случае, в первой части, на молодом исполнителе лежит весь груз драматической инициативы. И вот представьте себе Лаврову, от одного тихого рыка которой сидят слабонервные взрослые мужчины, и рядом — недавнего выпускника театрального училища, млеющего от самого факта, что он репетирует с ней на равных.

Мальчика для такого битья в тогдашнем МХАТе найти никак не удавалось. Недавно поставивший на той же сцене «Татуированную розу» с Мирошниченко в главной роли специалист в этой области Роман Виктюк, читавший пьесу, так и заявил мне авторитетно: такого мальчика здесь нет. Перепробовано было штук десять — они немели, едва Татьяна Евгеньевна являлась репетировать. У меня с ней контакт вышел лучше, но я не был, увы, актером, да и по возрасту уж не проходил.

Как театральный неофит, я являлся на всякую репетицию, как на работу, полагая, что так положено. Делать мне там, конечно, было совершенно нечего, лишь мучиться, видя, что ровным счетом ничего из затеи не получается. И это при том, что предприимчивый режиссер, не имевший, к слову, как и я, ни одной постановки за душой, умудрился заказать дивные декорации самому Попову, художнику Толи Васильева, у которого тогда

на Таганке шла восхитительная «Васса Железнова» в поповских декорациях и с моей незабвенной покойной подругой Лизой Никищихиной в главной роли. И мало того, молодой режиссер не поленился, слетал в Вильнюс и привез фонограмму музыки к будущему спектаклю никого иного, как гениального джазиста Ганелина. В общем, все складывалось как нельзя лучше, осталось лишь пьесу поставить.

После трех месяцев мытарств и бдений Лаврова от роли отказалась. Точнее — от режиссера. И ушла играть в сочинении Арро «Колея».

Причем — и это я говорю это лишь из пристрастия к прихотливым контрапунктам судьбы — героиня Лавровой была списана ленинградским драматургом с моей подруги, театральной критикессы, но это в скобках, к тому ж — обнаружилось позже.

Место Лавровой заступила Катя Васильева. Она же привела на площадку Сергея Колтакова на главную мужскую роль и очаровательную дочь покойного Геннадия Шпаликова, очень похожую на мать, актрису Инну Гулая, Дашу на роль Девушки, — был там такой проходной персонаж. И дело пошло. Однажды, застав на репетиции меня, Катя, бывшая жена Михаила Рощина, пристально оглядев мой пижонский прикид, внятно произнесла: видали мы таких драматургов. Меня как ветром сдуло. А после еще одного подобного столкновения с актерами — я расскажу об этом в своем месте — я и вовсе зарекся мешаться под ногами в процессе постановки, полагая, что свое дело уже сделал. И появляться автору прилично лишь на премьерных поклонах.

Но — рок — прямо с одной из репетиций Катю увезли в больницу с приступом аппендицита. А, оправившись после операции, она тут же упала в объятия — в профессиональном смысле — Камы Гинкаса, который на большой сцене приступил к репетициям «Тамады» Александра Галина. И растворился Колтаков — кажется, ушел на съемки «Зеркала для героя», и на том сюжет с МХАТом закончился, заняв во времени около года и оставив мне горьковатый опыт соприкосновения с Мельпоменой и дружбу с неповторимой Татьяной Лавровой, которой я никогда не пенял за измену с Арро.

К тому ж, в утешение, стал закручиваться новый роман — с «Современником».

Скажу сразу, дальше читки «на труппе» и здесь дело не пошло. Но сама читка запомнилась — хотя бы из того, что это было первое подобное мероприятие в моей жизни. Вообразите, плохо печатаемый писатель перед целым созвездием современниковских знаменитостей зачитывает, запинаясь и путаясь, свой опус. И это при том, что эту пьесу не раз и не два я читал на публике, освоил определенный интонационный строй, знал самые выигрышные пассажи наизусть. Но здесь я не смог перебороть робость. Недаром после читки замечательная Лия Ахеджакова сказала мне: Коля, за себя надо бороться.

«Художественный совет», ныне в «Современнике», кажется, упраздненный — там перешли, так сказать, от парламентской монархии к просвещенной — пьесу отклонил. Галина Волчек при этом пояснила, чтоб подсластить, что у «Современника» «своя территория»

— социальная тематика, надо понимать, а моя пьеса чересчур камерна.

Но во всем бывает своя хорошая сторона — на читке присутствовал Иосиф Рейхельгауз, тогда еще не имевший своего театра, а числившийся штатным режиссером «Современника». И он в эту пьесу буквально вцепился. Симпатичная в нем черта — бульдожья хватка, он и внешне несколько походит на эту симпатичную собачку. И невероятное упорство. С ним он пробивал на моих глазах свой театр, отвоевывал у издательства «Просвещение» знаменитый «Эрмитаж» на Трубной. С таким же упорством он носил, фигурально выражаясь, в портфеле пять лет мою пьесу. И спустя пять лет, несмотря ни на что, отыграл «Без зеркал» в день первого юбилея своего театра.

Но об этой постановке чуть позже.

Первой моей премьерой была однако не эта — а, двумя годами раньше, «Снег. Недалеко от тюрьмы» в постановке известного теперь, а тогда, в 88-ом году, такого же дебютанта как я, Андрея Житинкина на Малой сцене театра имени Ермоловой, которым в то время руководил Валерий Фокин. К слову, эта постановка тоже выдержала три раза менявшихся исполнительниц героини и более ста представлений.

Два слова об этом спектакле. Запущен он был знаменитой в театральных кругах завлитшей Галей Боголюбовой, моей крестной театральной матерью. Она пришла за Фокиным из «Современника» — шаг этот был для нее нешуточным, в «Современнике» она работала много лет и была правой рукой Волчек. Вообще, надо сказать, всяческие переходы актеров из труппы в

труппу, перемещения режиссеров трактуются чаще всего как измены, чреватые ревностью, разрывами, слезами примирения, это одна из черт преувеличенно эмоциональной, склочной и сентиментальной внутри театральной жизни, невидимой, слава Богу, зрителю.

Заняты в спектакле были ставшие нынче звездами Лена Яковлева и Саша Балувев. Мне повезло — этот первый, закончившийся премьерой, опыт был легким и счастливым — во многом благодаря Боголюбовой. Даже после премьерный банкет был замечательно домашним, у меня, в маленькой квартире на Павелецкой. На квартире потому, что водку тогда нужно было доставать, в ВТО не давали, а мне удалось где-то по знакомству надыбать ящик...

В те же времена я мучительно пытался разгадать загадку Театра. Это было томление, знакомое каждому, влюбившемуся не в Ту: умом ты все понимаешь, сердце же влечется. Тогда я написал — для пишущего естественно избывать свои проблемы в письме — эссе «Мертвые в театре» (оно приведено в качестве Приложения в издании ББП «По чужим оригиналам»).

Это эссе успело к первому номеру журнала «Золотой векъ», десятилетие которого недавно было торжественно отпраздновано в Манеже. Но «Золотой векъ» — уже 90-ые, уходящие за границы этого повествования, которые как раз 91-м и завершатся, в чем убедитесь вы с облегчением еще через пару глав. Должен сказать, что мои театральные идеи не нашли никакого понимания у людей, театром всю жизнь занимавшихся, — и этот факт, разумеется, не говорит об их ценности ничего, как ничего не могу сказать и я сам. А воплотить

их хотя бы отчасти я смог не в собственных оригинальных пьесах, — одно дело теоретизировать, что понятно, другое — соответствовать своим же соображениям в живой жизни, — а в инсценировках Достоевского. Впрочем, об этом я рассказывал уже в не такой уж давней статье для «Независимой газеты». Вот она.

ДОСТОЕВСКИЙ И БАЛАГАН

Мне пришлось трижды готовить для постановки романы Достоевского: «Идиота», «Подростка» и «Братьев Карамазовых». Впрочем, я предпочитаю слову «инсценировать» термин «транслировать» — с языка прозы на язык театра. Иногда интервьюеры задавали мне вопрос: что, вы так любите творчество Федора Михайловича? И я всегда вспоминал давнюю историю. Одному моему знакомцу еще в до-перестроечные времена выпало брать телефонное интервью у Брагинского, соавтора Рязанова по, в частности, «Иронии судьбы». Тот сочинил сценарий для какого-то второстепенного режиссера. Фильм вышел на экраны, и приятель пытался выведать у драматурга, отчего тот отдал свой сценарий именно этому постановщику. «Послушайте, деточка, — сказал Брагинский, — неужто вы думаете, что в твердом уме можно написать сценарий без заказа?».

Я, впрочем, никогда еще не называл интервьюеров «деточками». Но мог бы вспомнить бессмертную фразу еще одного драматурга, адресованную Роману Виктюку, когда тот заказывал ему «трансляцию» «Мастера и Маргариты» — мол, ты пока пиши, т. е. без договора; на что тот отвечал: «но ведь когда я творю, я должен быть

уверен в людях!». Но — шутки в сторону. Втравил меня в эту историю Валерий Фокин.

Его, в свою очередь, впервые подняли на Достоевского японцы, заказав постановку «Идиота» где-то на Окинаве, кажется, — впрочем, я слаб в японской географии. Он обратился ко мне с тем, чтобы я написал инсценировку. Уверенность в людях была — аванс получен. Дело оставалось за малым. Во-первых, перечитать роман, о котором у меня со времен юности сохранились весьма смутные и не очень лестные воспоминания. Отчего-то запечатлелась в памяти исповедь Ипполита, как нечто, вносящее диссонанс в общую композицию: вставной номер. Но, читая эту гениальную книгу заново и памятуя о своей задаче, я впервые обратил внимание на сугубую театральность Достоевского.

Как всякий из нас открывает однажды то, что знали до него поколения, так и я с радостью неопита (правда, уже знавшего о полифонии Достоевского от Бахтина) и жадностью варвара убеждался, как много для меня здесь поживы. Прежде другого меня восхитил зачин: герои романа встречаются в поезде житейски случайно, но сразу же делается ясно, как это необходимо для сюжета, поскольку вполне искусственно именно здесь, в вагоне, уже проговариваются все нужные сведения: ах, вы знаете генерала? — да я как раз к нему!. С точки зрения тургеневской прозы — безвкусная натяжка, а по мне, как пребывающему в данном случае в роли драматурга, — одна восхитительность. В смысле заботы о мотивировках Шиллеру куда как далеко до Достоевского. У последнего зажиточный помещик Свидригайлов оказывается в меблированных комнатах за стенкой с

нищей проституткой Соней Мармеладовой, Подросток, в ажиотаже рыщущий по огромному городу в жажде встречи с отцом, тут же и натывается на Версилова, братья же Карамазовы и вовсе усилиями ни малейших не прикладывают, чтобы в нужный момент оказаться в нужном месте для встречи с нужным персонажем. Это все, конечно, чистая театральность, когда на последнем слове одного персонажа в комнате появляется следующий. Не только в стихах капитана Лебядкина о мухоедстве и таракане от детства, но и в этом гениальном неправдоподобии ситуаций истоки обереутов. Но это к слову, главное же в данном случае то, какие невероятные возможности для театральной интерпретации во всем этом кроются.

Ну, с «Идиотом» все было более или менее ясно сразу. Есть три ударных сцены: у Настасьи Филипповны, скандал в Павловске, бдение в доме Рогожина над телом. Скомпоновать их было несложно, понимая только одно: композиция этого романа, единственный раз у Достоевского, построена центробежно, по наблюдению, кажется, Бердяева, — от Мышкина (все другие романы — центростремительны, повествование направлено к центральному персонажу, в них все кого-то одного разгадывают, будь то Раскольников или Ставрогин). Предстояло перенести центр, ибо сразу было ясно, что пьеса будет называться «Настасья Филипповна» (я не знал тогда, что повторяю Вайду, а вместе с ним — более ста авторов инсценировок на самых разных языках в разное время). Вайда попросту вычеркнул героиню из списка действующих лиц, все построив как диалог Мышкина с Рогожиным. Я же придумал ход, казавший-

ся мне бесспорно театральным: Настасья Филипповна все время в центре событий, но — бессловесна, почти бессловесна. Она начинает говорить, будучи уже зарезанной, в третьем акте,— это согласовывалось с некоторой моей доморощенной концепцией, изложенной в эссе «Мертвые в театре», опубликованном в декоративном «Золотом веке», о котором один острослов заметил, что этот журнал издается исключительно для презентаций.

Не знаю, как удалось Фокину воплотить это в Японии. Помню лишь, что через неделю репетиций он послал мне из Токио факс: срочно напиши текст буклета. Смысл был в том, что японцы начисто отказывались понимать, чего, собственно, хочет героиня, покинув богатого содержателя. Но уж коли случилась такая беда, и она смертельно влюбилась, то что ж она мечется. Не знаю, сохранился ли у Валерия Владимировича этот текст, но не представляю, каким способом я это тогда объяснил.

Но Бог с ней, с Японией. Фокин поставил эту версию и в Москве под названием «Бесноватая» (кажется, мы позаимствовали эту характеристику у Мережковского) в умирающем уже тогда Ермоловском. И вот очаровательная и талантливейшая актриса, приглашенная Фокиным из МХАТ, трагически погибшая Лена Майорова, игравшая заглавную роль, начисто отказалась воспроизводить на сцене задуманную мною «условность»: нет, ты скажи, умерла она или не умерла? Школа Станиславского! Позже, однако, я понял, что она была по-своему права. Но чтобы понять это, пришлось перечитать еще два романа Федора Михайловича.

Здесь, чтобы больше к этому не возвращаться, о том, как спектакль был принят критикой. Одно слово: ужасно. (Здесь примечание сегодняшнего дня: позже эту же пьесу, уже как «Настасью Филипповну», поставил в Академическом театре в Нижнем Новгороде прекрасный режиссер, ученик Виктюка, Сергей Стеблюк. И с большим успехом — постановка, кажется, по сей день на афише). С завываниями о «глумлении над русской классикой», в каковых преуспели равно и критик «Дня» Бондаренко, и ветераны либерального отечественного театроведения из комсомолок времен хрущевской оттепели. Критики же новой волны, как то им и положено, все больше писали о себе, попутно упражняясь в довольно плоском острословии по поводу спектакля. Как это всегда бывает с критикой, не было произнесено ни одного слова о том, что, собственно, было нами задумано. А лишь понимая это, можно судить о том, получилось ли и насколько. В этом смысле наша критика феерически не профессиональна, причем молодая критика прежде всего. Ветераны хоть издают охранительные клики, неся дрожащими руками хоругви русской культуры, как ее их научили понимать в ГИТИСе в конце 40-х. Юные же остряки от бурсы занимаются лишь инфантильным любованием собственным интеллектуальным нигилизмом, и остается лишь удивляться, откуда у них столько комплексов...

Версия «Подростка» готовилась Фокиным для польского телевидения, и мне заказан был сценарий часового телеспектакля. Часового! Его предстояло выкроить из крайне говорливого и аморфного — даже по стандартам Достоевского — толстенного романа. Я пошел са-

мым банальным путем — профанно-фрейдистским. Я написал тридцать страниц (одна страница — две минуты) диалогов Подростка с Версиловым: первый пытается уяснить тайну своего рождения. Причем не только в буквально-сюжетном смысле, но — в метафизическом: мол, как рождаются дети, и неужели же папа и мама занимались этим?

Замечу, что ни в одном случае обращения к Достоевскому я не позволял себе текстовой отсебятины. Это всегда был пусть весьма произвольный, но коллаж оригинальных авторских реплик и ремарок, и, кстати сказать, именно в случае «Подростка» при известном терпении эту линию было выдержать наиболее легко. Из постановки ничего не получилось — она не была осуществлена из-за финансовых проблем, — но именно эта работа навела меня на целый ряд соображений на тему «Достоевский и театр».

Первое и главное: не нужно пытаться сделать Достоевского еще более «условно-театральным», как я пробовал в «Бесноватой», — он и без того предельно условен и предельно театрален. Скажем, такая подробность: у Достоевского огромную сюжетную роль играют всякого рода письма, записки, пачки денег (надписанный Грушеньке конверт с «тремя тысячами»), причем совсем на иной манер, чем в привычной реалистической прозе прошлого века: граф прочел письмо и велел запрягать. Эти тысячи и записочки всегда содержат в себе «последнюю тайну» (как правило, для читателя прозрачную, то есть в каком-то смысле надуманную), жгут руки героям и переворачивают их судьбы. Будучи всего лишь вещами, они постепенно начинают жить само-

стоятельной жизнью, преодолевая свой бытовой статус, делаются предметами сакрального рода, оберегами и амулетами, пусть и с обратным знаком, играют роль оброненного платка Дездемоны, браслета, потерянного в маскараде, веера леди Уиндермир. То есть, Достоевский архаичен, как архаичен и театр, меннипеен, по слову Бахтина, мистериен.

Или другой аспект. Романы Достоевского, если отбросить традиционные вступления (скажем, предупреждение рассказчика в «Карамазовых», где он дает сведения о семействе, позже повторяющиеся в диалогах персонажей) начинаются, как драмы: уже случилось нечто, что служит причиной поднять занавес. В «Карамазовых», к которым я и перехожу, Митя, когда повествование начинается, уже влюбился в Грушеньку, уже рассорился с отцом, Иван уже приехал, Алеша уже послушничает, а Смердяков — тот уже Смердяков,— и представьте себе сколько томов написал бы, скажем, Голсуорси, чтобы довести повествование до этого расклада. Это ли не театр...

Предложение Фокина обработать еще и «Карамазовых» застало меня врасплох. Только человек, в четырнадцать лет бросив это чтение, не дойдя до «В Мокром», а позже читавший и перечитывавший роман не подряд, сценами, мог на такое сразу же согласиться. И здесь же, в фокинском кабинете, я сымпровизировал сам образ будущей пьесы, и даже название — «Братья и Ад».

Первое, что пришло в голову, что мир «Карамазовых» — сугубо мужской мир: мир монастыря, мир тюрьмы, мир интеллектуального кошмара и одинокого мужского

вожделения. Здесь нет места женщинам, особенно — «достоевским» женщинам, всегда — тут японцы правы — сугубо придуманным (быть может, за исключением «характерных» и по возрасту выпавших из пола, скажем, живописнейшей генеральши Епанчиной). Характерно, что такое решение — написать пьесу по «Карамазовым», где действовали бы девять мужских персон, — довольно отчаянное с точки зрения театральной рутины. Ибо, когда текст попадает в театр, то премьерша и фаворитка тут же кокетливо интересуются у патрона: а кто же будет играть Грушеньку (здесь хорош пример Мэрилин Монро, мечтавшей об этой роли, далась им эта Грушенька)? Уже только поэтому, думаю, не найдется смельчаков, кроме Фокина, вешать себе на шею подобное предприятие...

Так вот, образ будущего спектакля. Действие должно разворачиваться как бы вне »мира«. Ибо все, что происходит в романе, явно «не от мира сего», кроме «Мальчиков», от которых я сразу же с легким сердцем отказался, как прежде от Ипполита. В каком-то смысле эта линия — тоже «вставной номер» с точки зрения развития сюжета, как и «Инквизитор» (такие вставки могут быть сколь угодно гениальны, но они допустимы лишь в прозе, а театральное пространство-время они разрушают — ведь абсолютно нелепо гнаться на театре за буквальной «полнотой» воплощения какой бы то ни было прозы, цель — воспроизвести ее образ на другом, театральном, языке).

В мужском мире — архаичном мире тайных союзов, древних табу и смертного наказания за их нарушения — действует иная, нежели в светской прозе нового време-

ни, логика, и она лежит в основе «Карамазовых». Ведь речь идет о роде и родовом проклятии. О всегда насильственной смене поколений. О невозможности возложить ни на одного из сыновей общую для всех троих (троичность — тоже признак архаичности сюжета, вплоть до того, что из трех сыновей младший — дурак и единственный заступник) вину отцеубийства. О «карамазовщине», когда непосредственный грех преступления возлагается на стороннего, четвертого, самого слабого («не соблазняй малых сих» — эту заповедь, одну из многих, нарушают и Иван, и Митя, и невольно Алеша), незаконнорожденного, которому в руку они невольно и вкладывают чугунное пресс-папье...

Почему девять? Отец Зосима, папаша Карамазов, три брата, Смердяков, — шесть. Но у каждого брата — по своему Черту, в итоге девять. Банальная тяга к простой симметрии? Но вспомните роман: ведь не только Ивану является его Черт. И Митя много раз проговаривается, что его «черт попутал» и что это «Черт убил» — в конце концов в лице следователя этот черт и возникает перед ним в Мокром, — соблазнитель, растлитель, неумолимый погубитель — помельче, но не менее опасный, чем Иванов Черт. И у Алеши свой Бесенок (недаром одна глава у автора так и названа). Напрашивается решить спектакль «мистериально», в трех ярусах народного славянского вертепа, где традиционно показывалось, как из среднего яруса кто-то поднимается наверх, в Рай, грешников же волокут вниз, в Ад (так и хочется сказать словами Папаши — «крючьями — а есть ли у них там в Аду кузня крючья ковать?»). Однако у Достоевского никто никого никуда не волочет: Папаша в Ад стучится,

думая, что всего лишь ерничает, Иван и без того со своим «Адом в груди», как говорит Алеша, Митя в финале тоже алчет «пропастей земли», но в том-то и дело, что и алкать и проситься не надо — все они уже в Аду, в родовом аду «карамазовщины».

Образ Ада Достоевский подсказал будущим театральным интерпретаторам в «Преступлении», в сне Свидригайлова,— деревенская баня с тараканами. И было бы пустым расточительством этой подсказкой не воспользоваться. Любопытно, что репетиции в «Современнике» еще не начинались, но сценограф Фокина, с которым они в Кракове уже сделали «Бобок», обойдясь без меня (посмотрев фокинские «Мертвые души» — блистательный спектакль «Нумер в гостинице города NN», который он давал в Манеже, целиком им самим придуманный, как и «Бобок», — я все пристаивал к нему, шутя: зачем тебе драматург, если ты обходишься одними междометиями), — так вот, сценограф уже сделал эскизы. Что он изобразил — пан не мог объяснить, равно как и сам Фокин не понимал. Ясно было, что это — то, но что именно никто знал. Тут-то мне и припомнился Свидригайлов, деревенская баня из его сна, место традиционно проклятое и мистическое, где нельзя было держать образов, даже молиться, а крест следовало снимать с себя при входе. Гиблое место, поганое, и коли баня сгорала, то на баннице уж никогда ничего не строили. С другой, бытовой стороны, именно в бане люди обнажаются («заголяются», как говаривал персонаж Достоевского), самоистязаются, хлеща себя почем зря, в попытке

смыть с себя грязь и очиститься. Собственно, этим персонажи «Карамазовых» исключительно и занимаются...

Но вернемся в «театр Достоевского».

В каком-то смысле это театр масок. Если бы иметь дело с куклами, то не пришлось бы заказывать изображений всех персонажей. Достаточно было бы иметь маску комического резонера, и эта кукла играла бы и Лебедева, и Лебядкина. Можно было бы ограничиться одной куклой, изображающей «добрую даму, режущую правду в глаза»: Епанчина из «Идиота», Татьяна Павловна из «Подростка». Лаферта в том же «Подростке» с успехом сыграл бы офицер из сцены в Павловске... Эти кочующие из романа в роман характерные маски — тоже весьма театральная черта прозы Достоевского. И мне представляется почти необъяснимым, отчего его романы не разыгрываются именно в театре кукольном. Думаю, исключительно из поверхностного отношения к текстам Федора Михайловича, как к культовым для России (хотя не менее «кошунственной» была идея сделать из «Евгения Онегина» оперу»). А какой замечательный трагический кукольный балаган можно было устроить хоть из «Бесов». Причем о балаганном аспекте не приходится спорить — достаточно указать лишь на важнейшую черту построения всех без исключения ударных сцен в романах Достоевского — они всегда строятся как скандал. Вспомним для примера хоть ту же сцену в парке в Павловском, когда Настасья Филипповна бьет офицера стеклом: в чистом виде комедия дель арто; вообще истерика, переходящая в мордобой — стихия Достоевского, меннипея, одно слово.

Еще одна сторона: круговое построение встреч для разговоров по принципу А-Б, Б-В, В-Г, Г-А, В-А, Б-А, Г-Б и т. д. Все бесконечно говорят со всеми, причем даже тогда, когда, казалось бы, движению романа это совсем не нужно. Ионеско с его «Лысой певицей», построенной на англо-французском разговорнике, в этом смысле до Федора Михайловича далеко (к слову, этот принцип за пятнадцать лет до рождения во Франции «театра абсурда» воспринял у Достоевского Хармс в «Елизавете Бам»). Эта самоценность говорения, если вдуматься, тоже имеет под собой вполне балаганную основу...

В последние годы на московских сценах было представлено более десяти инсценировок романов Федора Михайловича. Почти все постановщики исповедовали принцип Немировича-Данченко, когда он ставил «Карамазовых» во МХАТе — «бережного отношения». То есть, в конечном итоге, почти все застревали на стадии художественного чтения по ролям. Наиболее радикален был, кажется, Кама Гинкас с «Записками из подполья», но спектакль портил, на мой взгляд, известный бытовой натурализм. Можно легко предсказать, что дело этим не кончится. И, быть может, мои беглые заметки помогут какому-нибудь грядущему продюсеру цирка шапито поставить «Село Степанчиково» или «Дядюшкин сон» с участием факиров и бурых медведей.

А теперь обещанное, о «Без зеркал». Рейхельгауз столкнулся с теми же проблемами: где найти мальчика. Премьерши были — прежде всего Люба Полищук, которой, кажется, роль была по вкусу. Проявляла некий интерес Ольга Остроумова. Речь шла и о Наталье Варлей. Но мальчик! Сначала Иосиф хотел, чтобы сын и отец

были и на сцене похожи — это предусмотрено в пьесе, но внешне: на самом деле для того, чтобы героиня «перепутала» отца и сына их внешнее сходство подсобно. Разрабатывали варианты: Казаков-отец — Казаков сын, Стриженов младший — Стриженов старший. Даже Ефремов и Ефремов. Из этой, ложной в общем-то, идеи ничего не вышло, но — счастье — Миша Ефремов подошел по всем статьям. И когда Полищук отказалась от роли — роли, честно говоря, не ее, героиней стала бесподобна Ольга Яковлева. Тут-то все и закрутилось.

Вспоминается банкет после премьеры. Как я уж сказал, премьера была сыграна в первый день рождения театра. И накрывал поляну — дивное выражение наших дней, не смог удержаться — сам театр. И вот входят гости. Бог ты мой — Анатолий Чубайс с женой Машей, Петр Авен с женой Леной... С Авеном была забавная встреча. Здороваясь, он спросил меня: вы меня не узнаете? Конечно, узнаю, он тогда всякий день был в телевизоре. «Да нет же, мы с вами в одной школе учились, только я двумя годами моложе».

На самом банкете бескомпромиссная Люба Полищук сказала, обращаясь ко мне с тостом: но как же вы позволили так изуродовать пьесу! Это и впрямь была моя боль. Но делать было нечего, спектакль делался под Яковлеву, и тут особенно не поспоришь. Впрочем, я не из тех авторов, которые держатся за каждое слово. Лишь бы театру и актерам было удобно, а уж в собрание сочинений я дам оригинальную версию, шутя, успокаиваю себя я...

Но — работа над Достоевским многое мне дала в театральном смысле — пьес я больше не писал. Пере-

делал, правда, одну давнюю, «Стихия воздуха», по просьбе моего друга, замечательного Львовского режиссера Бориса Озерова. Отучил меня от этого занятия тот же Фокин. Однажды я спросил Валеру, отчего он не ставит вовсе собственно пьес — делает спектакли только по прозе. Будь то Набоков или Гоголь. Он ответил, что не читывал современных пьес сравнимых по глубине с классической прозой. «Вот ты же прежде всего прозаик», заметил он. И этим проставил крест на моей карьере драматурга.

Говоря серьезно, театр отвлекает от стола. Писание пьес дело хлопотное и весьма неблагодарное. Ведь в результате всегда и у всех режиссеров на сцене покажется вовсе не то, что тобой замышлялось. Драматургия — если она не гениальна, как у Гоголя — жанр несамостоятельный. А главное — не печатный: найдете вы сегодня издателя, который подписался бы печатать пьесы. И читателя, который будет их читать. Не говоря уж о том, что, коли у вас хоть что-то получилось, вы неминуемо погружаетесь в около театральную жизнь — сладкую, пряную, восхитительную, но уводящую от стола. Это морок и соблазн для сочинителя, и судьба гения театра Чехова весьма поучительна — не женитесь на актрисках. А как, скажите на милость, на них не жениться — на талантливых, насквозь лукавых, умеющих носить одежду и пудриться, с поставленными голосами, с фигурами и руками, а главное — с непередаваемой грустью в глазах, грустью женского знания, поскольку, в отличие от прочих дам, они уж прожили не одну, а много смутных женских судеб. Никак невозможно на них не жениться, и Чехов далеко не единственный пример со-

блужденного театром писательского дарования. Недаром наиболее продуктивные писатели обходили театр стороной — Толстой, скажем, ограничился двумя опытами, и сел за «Воскресение» с «Хаджи Муратом», махнув на подмостки рукой. Тургенев, живя с актрисой, только и сочинил «Месяц в деревне» — не считая пустой одноактной ранней пьесы. А однофамилец Льва Николаевича, на что был жовиален и плодовит, и вовсе ограничился тем, что вывел в «Буратино» главного режиссера Барабаса — будьте покойны, здесь не обошлось без прототипа. И сколько крови себе попортил беллетрист Максудов, ринувшийся в театральные омуты. И зачем автор «Буревестника» ступил на эту стезю, онто мог бы из «На дне» сделать эпопею длиннее и внятнее «Клима Самгина». Но испортил и потратил материал. Нет-нет, перекреститесь и сплюньте через левое плечо.

К тому же, любой драматург должен иметь своего режиссера и свой репертуарный театр. И писать, зная возможности труппы. От Шекспира и Мольера до Рощина и Гельмана это было так. Володин перестал сочинять пьесы, когда Ефремов покинул «Современник». Рощин — когда его союз с Ефремовым расстроился. И так далее. Я тоже потерял Фокина, который давал мне стимул. Не потому что мы поссорились — Валера просто ушел дальше и стал играть в другие игры.

И все равно после всех и всяческих заклинаний — театр манит, как соблазн и наваждение. А уж тот, кто однажды вышел на поклон, сияясь, стоя на освещенных подмостках, в темном зале рассмотреть знакомое лицо, и вовсе пропал. Ибо, как сказала мне одна заме-

чательная актриса, роль — это как доза для наркомана. А роль драматурга, несмотря на все происки режиссеров, в театре все-таки не последняя.

Глава XI

СТРОЕНИЕ, СТОЯВШЕЕ ОТДЕЛЬНО

Когда-то это был дачный подмосковный поселок, один в ряду, но в нем жили только отборные люди. Тогда не произносили вслух слова элита, и уж подумать было нельзя, чтобы кому-то пришло в голову назвать таким словом самого себя. Это было бы так же вульгарно, как если бы породистая собака громко лаяла о своей родословной. Да и само слово звучало двусмысленно. Элитными в те поры называли лишь сорта картофеля и помидоров, а иногда и некоторых лошадей на бегах, куда принято было захаживать порядочным людям. А ведь в Поселке жили приличные и порядочные люди, они называли шарф — кашне, знали языки, помнили гимназическую латынь, во всяком случае названия пары склонений, и кое-что из старого греческого, при случае могли кому-то не подать руки, многие когда-то знали Мандельштама, не стихи, конечно, но самого поэта. Это были люди преимущественно творческие, они никак не желали, чтобы их смешивали с невежественной номенклатурой, которая в те очень далекие годы считалась чернью и плебсом.

Были ли эти обитатели Поселка богаты? Нет, разумеется. Во всяком случае даже в сравнении с разномастными мелкими жуликами, спекулянтами, держателями меховых ателье или заведующими овощными лавками, а о партийных функционерах и речи нет. Но они могли себе позволить завтрак в Национале, обед раз в неделю в Праге, большую корзинку снеди из тамошней кулинарии перед приездом на дачу гостей, коньяк из Армении — пять звезд, оттуда же сыра и бастурмы, а зелень, конечно же, с Центрального рынка, не говоря о фруктах — фрукты только оттуда. И пальто, конечно же, из ателье МИДа.

Откуда денежки? Так ведь сами, как это не покажется нынче странным, и зарабатывали. Переводами мелких западноевропейских классиков, а подчас и поэтов эпох Хань или Цинь, и в те годы этот вид творческой деятельности был уважаем и хорошо оплачивался, скажем, Худлитом. Сами сочиняли киносценарии про их шпионов и отечественных разведчиков. Выполняли и много другой полезной работы: куплеты, опять же. Или, скажем, писали небольшие пьесы для детских и кукольных театров — про волка. Снимали документальные фильмы и про других крупных и мелких хищников, много знали о грызунах. Песни к кинофильмам типа «Судьба космонавта» или «Подвиг на пожаре» тоже могли служить подспорьем бюджету, при случае могли придумать гимн, тему полезного плаката, прочитать лекцию про есть ли жизнь на прочих планетах...

Жены тогда не служили. Это были интеллигентного разлива дамы в том возрасте, который не компрометирует мужей: откровенно молоденькими бывали лишь

домработницы и иногда секретарши. Они гуляли по аллеям поселка под руку с мужьями, а что до адюльтеров, то в те времена не было принято как нынче в уголке дать по тихому, но в моде была любовь и страсть, так что измена приводила чаще всего к перемещению дам с одной дачи на другую, причем покинутый муж сам нес к соседу женин скарб, гардероб и архив. Все было чинно, пристойно, без скандалов. Дуэли почти не случались.

В отличии от хорошо кормленных жен, дачи были ветхими. Эти деревянные строения сооружались еще перед второй мировой войной, но были времена, когда они считались шикарными. Хотя бы потому, что прекрасны и просторны были участки, на которых росли сосны в полный рост, широки и светлы окна, чуть мерцали под лучами утреннего солнца отдраенные прислугой крашенные масляной краской, чаще всего бордового цвета, дощатые полы, а сортиры были внутри жилищ, никто не бегал в тулупе до ветра, и хорошее дерьмо — потому что качественной была пища — само стекало в специальные вырытые в саду резервуары, откуда его забирал время от времени золотарь на своем говновозе, и стоила эта операция не дешево, сотню, месячную зарплату какого-нибудь молодого специалиста. Но не это главное, а то, что все были запросто, но без амикшонства, и золотарь был как бы дальний родственник каждой здешней семье, как, впрочем, и санитарный техник и прочий персонал.

Дачи эти являли собой, конечно, пародии на до-революционные усадьбы, хотя и были просторными. Поселок не был огорожен могучим забором, как ны-

нешние богатые поселения, а как бы открыт ветрам. Зады отдельных участков так вообще не огораживали, и кусты садовой малины обнимались с сородичами дикими, и с годами давали ягоду пряного вкуса, дикую, но с домашней сладостью, их него домработницы под управлением своих хозяек варили варенье для грядущих зимних простуд.

Это были блаженные времена, когда смотреть телевизор было дурным тоном. Разве что только погоду. Приемник иногда включали, конечно, но тайком, занавесив окна. Но вполне приличным считался семейный поход в кино, когда в местный клуб привозили новую картину, так было принято в те годы называть кинофильмы. Дело было, конечно, не в самих фильмах про Джульбарса и прочую живность, но в клубном характере самого мероприятия. Мужчины общались, дамы сплетничали, а главное — показывали новые шубы, на светском языке это называлось проветрить мех. Впрочем, фильмы с Ивом Монтаном тоже имели успех.

Над поселком низко летали самолеты — аэродром был неподалеку. Шло время, самолетов становилось все больше. Нарушалась тишина. Подчас вой двигателей заглушал слова песни Когда поет далекий друг. Молодежь гоняла по аллеям на новых авто, будучи отнюдь не всегда трезва. Старики перешли с копченого армянского мяса на колбасу любительскую. Менялись времена, приходили в упадок нравы. Поселок отмирал, уже многие территории были скуплены неясными молодыми коротко стриженными людьми. Подчас эти новые хозяева исчезали навсегда, и их розового кирпича новодельные хоромы оставались без своих неверных оби-

тателей. Клуб переделали в ресторан, и кино больше не показывали. Состарились жены, и никому уж не было дела на кого их когда-то обменяли. Износились трубы, и из кранов стала идти ржавая вода с привкусом железа и канализации. Открылись новые торговые точки, но на куплетах стало уж не заработать. Только церковка у станции по-прежнему оставалась самым теплым местом в округе, особенно в мороз. И отдельные выжившие обитатели Поселка все чаще заглядывают сюда.

Из окон фасада так называемого «нового корпуса» в Доме творчества в Переделкино справа от входа можно рассмотреть несколько берез, стволы которых обожжены и закопчены. Это не следы неосторожного костра: ожоги находятся на высоте выше человеческого роста. Когда-то среди этих берез стоял деревянный коттедж, но копоть на стволах — единственное сохранившееся поныне напоминание о его былом существовании. Глядя на это пепелище, я невольно вспоминаю целый ряд обстоятельств, в которых принимали участие прямо или косвенно люди, с которыми я был связан и дружески, и деловыми отношениями. И созерцание этих деревьев навевает нечто в мемуарном духе.

Впервые в этом коттедже я был в гостях у знаменитого нашего писателя Андрея Битова. Отлично помню, что, готовясь к посещению, я припас один свежий по тогдашнему времени анекдот: слышали, город Горький переименовали в город Сладкий? То есть можно точно датировать этот визит — Сахарова только что выслали из Москвы. Помню, Андрей усмехнулся, но и поморщился. И объяснил: как жаль, что не мне первому эта шутка пришла в голову... Он жил в этом коттедже как

бы в изгнании: на тот момент мало того, что случились разнообразные неприятности в связи с обсуждением «Метрополя» в Союзе, повлиявшие, конечно же, на издательские дела всех участников, но к тому же он как раз в это время лишился своего дома в Теплом Стане. И эта самая убогая комнатка на втором этаже ветхого коттеджа оказалась единственным его прибежищем. «Каждый сам выбирает, каким боком ему ложиться под танк», запомнилась мне еще одна его фраза....

Пятью-шестью годами позже, уже в горбачевские времена, у меня завязались отношения с театром Валерия Фокина — он тогда возглавлял Ермоловский. Я уже сделал по его просьбе инсценировку по «Идиоту», и он с успехом поставил ее в Японии. Многие детали я уж вспоминал на этих страницах, но так или иначе Фокин, вернувшись из Японии, позвонил мне и попросил приехать для «важного разговора». И я еще стоял на пороге его кабинета, как он уже успел сказать: теперь будем делать «Карамазовых». Отказаться было невозможно. Мы тут же и сговорились, что в пьесе будет девять мужских ролей, что главу «Мальчики» придется опустить. Как и «Легенду». Дело было в конце сезона, в мае, срок исполнения я назначил сам: первое ноября. Это была довольно тяжелая работенка. Летом я перечитал роман, а заодно и Бахтина. А с сентября, когда закончатся летние каникулы учащих, решил засесть в Переделкино.

Однако план чуть не сорвался: в обоих корпусах как раз на эту осень директор наметил дезинфекцию, что, конечно, само по себе было неплохо. Но Дом закрывался. Директором тогда был симпатичный отставной летчик. И он сдался, когда я стал ныть и проситься,

и позволил мне жить в этом самом коттедже. В любой из четырех комнат. Я выбрал ту самую комнату на втором этаже, куда приезжал к Битову. Столовая, естественно, тоже не работала, и я заехал со своей электрической плиткой и со своим самоваром. Это была прекрасная стеклянного воздуха покойная тихая осень в пустом Доме творчества наедине с Иваном, Митей, Алешей и Смердяковым — его потом в «Современнике» играл Гарик Леонтьев...

Прошло еще сколько-то лет, и, заехав в Дом творчества, в Новом корпусе я застал отличную компанию: Беллу Ахмадулину, Бориса Мессерера, а также Володю Мороза, о котором я много слышал, но знаком не был. Был такой же ранний теплый октябрь, мы сидели на балконе, под ногами крутился беллин шарпей, а прямо перед нами стоял этот самый коттедж, новым директором сданный в аренду. Мне всякий день из окна номера было видно, как хозяйка, молодая дама наружности фотомодели, садится по утрам в свое белое «Вольво». Она, судя по многим признакам, сделала в коттедже ремонт, а на крыше красовалась теперь телевизионная тарелка. Естественно, я уж выучил распорядок жизни этой дамы: она уезжала утром, а возвращалась в сумерках, заносила в дом пакеты с продуктами. В доме ее ждал ребенок и, наверное, бабушка этого ребенка. Так вот, во время застольной беседы Борис сказал, что на другой день канал «Культура» будет показывать выступление Беллы, но антенны в самом доме творчества на этот канал не настроены. Глядя на этот самый коттедж, я сказал, что у его нынешней хозяйки наверняка канал

принимается, и Борис тут же сходил и договорился, что нам дадут возможность посмотреть программу.

На следующий день мы отправились. Одна из комнат внизу была отведена под гостиную, в ней хозяйка сделала даже камин, то есть устроилась крепко. Телевизор занимал всю стену. Мы посмотрели, что было надо, прощаясь и благодаря мать хозяйки — самой ее не было — я попросился взглянуть на ту «карамазовскую» комнату на втором этаже. Мне позволили. Нынешняя хозяйка отвела ее под туалетную. Она установила там даже биде. Повсюду была разбросана косметика, а туалетный столик с трехстворчатым зеркалом стоял на том самом месте в проеме между окнами, где когда-то стоял мой письменный стол. Неизменным остался только вид из окна: на желто-красные березы, на ели у ограды, за которыми виднелся конек крыши ближайшей дачи...

В следующий раз я приехал в Переделкино в декабре. И когда шел от машины с сумками, сразу же увидел незнакомую пустоту слева от дорожки. Снежок уже припорошил пожарище, но подтаивал на еще не остывшем пепелище: коттедж сгорел за два дня до моего приезда. Я вспомнил стройную и энергичную хозяйку, комнату, в которой она прихорашивалась на месте сочинения пьесы «Братья и ад», и с печалью подумал, сколько трудов и вещей в этом доме погибло. Впрочем, выяснилось, что еще в ноябре хозяйка экстренно съехала, а сам коттедж занял некий золотодобытчик из Сибири. Он-то, разжигая камин, к чему, наверное, не был привычен, и подпалил дом. «Все сгорело, как спичка», сказала дежурная.

Что ж, судьба этого строения отразила сам ход национальной истории. Бездомного писателя Битова заместил в этом доме безвестный бизнесмен из Сибири, на чем все и кончилось. Точно как сама литературная эпоха сменилась эпохой накопления капитала, интеллигенция обнищала, а вчерашние работяги-старатели теперь греются у каминов, учась орудовать непривычными для них каминными щипцами, потому что до того умели управляться только с киркой. Но «Мартель» по привычке пьют стаканами. Поменялись роли, перепутались функции, где был пир — там гроб стоит. Писатели стали совсем не нужны, зато земля очень вздорожала. И нам осталась лишь память о прекрасной эпохе, когда еще сочиняли стихи и писали прозу, ставили «Карамазовых», ходили в библиотеку Дома творчества, которая теперь оказалась в предбаннике ресторана «Дети солнца», полюбившегося солнцевской братве. Захлопнулась книжка, и новые люди теперь построят здесь новую жизнь — на свой вкус.

Глава XII

ТОТ СВЕТ

За два года до окончательного крушения имперские службы все еще корежило от горбачевских преобразований. В 88-м, в Выборге, когда я возвращался из первого в жизни заграничного вояжа — скандинавского — на поезде «Толстой» Хельсинки — Москва, таможенник никак не хотел пропускать Библию на английском — я

прихватил ее по советской привычке из номера стокгольмского «Шератона». При этом у меня с собой была настоящая контрабанда — во внутреннем кармане пиджака я вез серебряный портсигар Ибсена с его вензелем на внутренней стороне позолоченной крышки, подаренный мне его внучкой в Осло; портсигар и сейчас передо мной на письменном столе. Так что спор по поводу Библии лишь служил охраной раритету. Впрочем, по предъявлении писательского удостоверения, по уверению, что книга нужна мне для работы, таможенник, сжав зубы, Библию вернул. Кстати, годом позже у моей жены — она приезжала ко мне в Штаты — на обратном пути в Москве на таможне отобрали пару невинных тамиздатовских книг, одна из которых была поваренная, Вайля и Гениса, которую авторы мне подарили...

В Америку я улетел в октябре 89-го на полгода, получив — не без подсказки и помощи Василия Аксенова — грант в Институте русских исследований имени Кеннана в Вашингтоне, и, кстати, оказался первым не почетным и приглашенным, а на общих основаниях прошедшим конкурс литератором из СССР.

Шереметьевские пограничники, привыкнув иметь дело с приличными, проверенными людьми первого большевистского разбора с зелеными паспортами, не без внутренних терзаний выпускали из страны повалившую, пользуясь горбачевскими свободами, разномастную шушеру и шантрапу с красными общегражданскими ксивами, ну вроде меня. Долго вертя мой паспорт в руках, кому-то его показывая, сносясь с начальниками, мне наконец заявили со вздохом, что выпустить-то они меня выпустят, но вот в Америке меня не

примут: въездная виза оформлена неверно. «Вернетесь этим же самолетом», — посулили они мне.

Одиннадцать часов перелета они мне отравили-таки: я волновался, хлебал виски, приобретенное в шереметьевском фри-шопе, добавил на Шпицбергене — и молился. В вашингтонском аэропорту меня поджидал огромный негр-таможенник. Он открыл мой паспорт — сердце затрепетало, хлопнул куда надо печать и во всю пасть сахарно улыбнулся:

— Добро пожаловать в Соединенные Штаты, сэр!

Русский Вашингтон

Прямо с самолета встречавшие спровадили меня в дом Елены Александровны Якобсон, невестки знаменитого лингвиста Романа Якобсона, вдовы его брата. Здесь я застал пожилую эмигрантскую компанию: на столе стояло красное калифорнийское и рогалики с маком — явно самостоятельного, по русскому обычаю, производства — к чаю. Хозяйка встретила меня обворожительной улыбкой. И широким жестом, что выдавало в ней завзятую распорядительницу салона, представила гостям: господин к нам прямо из СССР. Присутствующие с некоторым недоверием оглядели мой твидовый Дэвид Хантер, приличные и вычищенные в самолетном туалете итальянские штиблеты и цветущий от выпитого в полете виски общий вид лица. Я потом часто сталкивался с этим феноменом: покинувшие родину в разные годы эмигранты отказывались верить, что в их отсутствие жизнь в империи зла кое-как, но продолжается. И я подтвердил, что сутки назад действительно гулял по московским улицам. Что я литератор, но в перестройку

стало возможно легально и по общегражданскому паспорту вот так запросто приземлиться в Штатах.

Возгласами восхищения и ужаса встретили присутствующие мой краткий патриотический спич. Меня же вдохновляло наличие среди пожилых лиц одного молодого, темноглазого — темная челка, взгляд лукав. И с этой молодой дамой еще будет история, но тогда, в первые минуты на американской земле, я об этом не знал.

— Но,— задыхаясь от волнения, прошептала какая-то пожилая госпожа,— вы же не намерены возвращаться туда?

— Я там живу,— скромно пояснил я, заглядывая под темную челку...

Этот небольшой по американским стандартам дом оказался центром русского литературного Вашингтона — есть и такой. Здесь часто бывал Василий Павлович Аксенов, вашингтонский резидент, учивший Рейгана читать Гоголя; здесь я познакомился с Руфью Зерновой, гостьей из Иерусалима; и с Ниной Берберовой, ученицей Гумилева, женой Ходасевича, гремевшей тогда в России, поскольку в Москве одна за другой стали выходить ее книги — даже о чайковском гомосексуализме, теме до сих пор наглухо закрытой в России. Впрочем, в тот первый вечер я не встретил никого из знакомых, но узнаваем был профессор Каждан, я и не подозревал, что он давно эмигрировал, гость Елены Александровны из Калифорнии, книгами которого о Византии я некогда, в юности, зачитывался.

К слову о Берберовой. Как-то, едва она вернулась из второго, кажется, своего вояжа в Советский Союз,

под нее был устроен у Елены Александровны вечер. Берберова рассказывала: ее опекал в Москве светский и вездесущий Андрей Вознесенский. Перед отъездом ей выплатили кучу рублей в виде гонораров, и она ума не могла приложить, куда их девать, банковских обменных пунктов тогда, если вы, быть может, помните, еще не было. Андрей Андреевич попросил дать ему время подумать. Он думал ночь, наутро позвонил и сказал: знаете, полагаю, вам нужно купить шубу. «Помилуйте, Андрюша,— взмолилась Берберова,— в Принстоне в шубе меня примут за вдову банкира!».

Елена Якобсон родилась в Москве, в Мерзляковском, лет пяти-шести оказалась вывезенной в Харбин, помнила по гимназии Наталию Ильину и Юру Бриннева, читай — Юла Бриннера, главу незабвенной для моего поколения великолепной семерки, и, маленькая и изящная, пользовалась большой популярностью у эмигрантов мужского пола. Об этом я сужу по книжечке, ею мне подаренной, под названием «Елена» — сборничке плохих стихотворных ей посвящений, который на старости лет она сама издала — в память о молодости. Позже ее семья отправилась щи хлебать в Австралию, она же, не будь дурой, выскочила за американца-коммивояжера. В Штатах она быстренько развелась, нашла мужа по себе, с которым и прожила большую часть жизни, родила дочь Наташу, уже не говорившую по-русски, написала учебник русского языка для американских балбесов-студентов, а там вышла на покой и ко времени нашего знакомства возглавляла на общественных началах Вашингтонское отделение Русского заграннического ПЕН-центра — должность, вы понимаете, от-

ветственная. Она была все еще не без шарма, лихо водила автомобиль, управлялась с автоответчиком и факсом и произносила «доллАры» — Аксенов как-то мечтательно шепнул мне на заседании этого самого Центра: звучит, как кораллы.

Надо заметить, что Вашингтон — идеальное место для русских жюльенов сорелей. Город наводнен богатыми вдовами ли, разведенными ли, изнывающими от скуки дамами от сорока пяти и выше, готовыми к приключениям с предоплатой с их стороны. И не могу удержаться, чтобы не рассказать одну эмигрантскую литературную историю.

Был некогда в Москве преуспевающий относительно молодой литератор и сценарист Анатолий Антохин, я знал его через своего старинного приятеля поэта Витю Коркия. Это был франтоватый красавец блондин не без общественного темперамента — достаточно сказать, что он редактировал вгиковскую многотиражку. Будучи примерным комсомольцем и юным дарованием, — кажется, он успел наваять пьесу про Ленина, впрочем, может быть, это был другой эмигрант — антисоветчик Юрьенен, — однажды оказался включен в делегацию молодых писателей от Союза — для посещения Италии. В Риме он натурально сбежал. Андрюша Кучаев, известный наш юморист, бывший членом той же группы, сидя в пестром буфете ЦДЛ и вспоминая этот эпизод, очень ругался матом: из-за Антохина группу срочно отозвали, не дав отовариться и лишив шопинга.

«Литературная газета» замечательно отозвалась на этот инцидент: «Предатель Родины Антохин всегда

был аморален: он бросил в Москве жену и женщину, которая ждет от него ребенка». Про Ленина ни звука. А женщина, о которой шла речь, действительно имела место быть, долгие годы они жили в гражданском браке, звали ее Татьяна Агапова. Знал ее и я: она была многолетним редактором в Министерстве культуры, и свои пьесы я таскал к ней с тем, чтобы в театр — скажем, за «Снег» — был переведен мне министерский гонорар. Она действительно родила Антохину дочь — прелестную маленькую блондинку с огромными сумасшедше голубыми глазами. И очень хорошо о Толе отзывалась. Нынче они с дочерью давно в Америке, и, по слухам, Антохин в дочурке души не чает. К тому есть дополнительные мотивы, помимо одной отцовской нежности: эта самая Даша — единственный его белый ребенок.

Теперь — прокрутим назад. Рассказываю со слов Елены Якобсон, излагавшей эту историю с уморительным юмором. Достигнув вожделенной Америки, беглец и изменник Антохин оказался натурально в ее вашингтонском доме.

Она вспоминала, что он любил рассказывать, будто вывез свои бесценные произведения из России, переписав их на туалетную бумагу и обмотав ею торс. Как и меня, светская Елена Александровна стала водить его в дома. Тут-то Антохина и подцепила некая богатая вдова, подхватила и перенесла на Гавайи. Что там произошло у них в карибском раю — неизвестно, но только через полгода Толя от вдовы сбежал, совсем как Гекльберри. Он был на последнем издыхании, без денег, но с окрепшим английским. Чувствуя себя несколько прощтрафившейся, Елена Александровна напрягла свои

связи, и Толю, как пострадавшего от коммунизма, взяли преподавать русскую литературу в какой-то колледж в Нью-Йорке. Все бы хорошо, но среди студенток у него оказалась эфиопка. Не простая, а — принцесса, принадлежавшая к обширнейшему семейству только что сверженного императора. Антохин, не долго думая, принцессу соблазнил, она забеременела, история получила огласку, его вышибли с работы, и, чтобы не перекрыть себе навсегда американское академическое поприще, он на ней женился. Когда Таня Агапова прибыла в Америку, она позвонила мне в Вашингтон с Аляски и рассказала, что была у Антохина: тот преподавал в каком-то дремучем колледже в одном из безвестных штатов, жил с эфиопкой и тремя, что ли, черными детьми и Таню с дочерью содержать никак не мог, хоть принцесса приняла их очень тепло.

Однажды я был приглашен одной русской дамой по имени, кажется, Людмила Фостер (Фостер — по давно иссякшему американскому мужу), известной, поскольку она много лет вещала по радио «Голос Америки», — на бал к какой-то русской баронессе, внучке уж не Врангеля ли, который та давала в шикарном вашингтонском отеле. Бал был посвящен созданию дамского русского общества «Америка — Россия», предполагались матрешки, икра, осетрина и фольклорный девичий ансамбль из метрополии. Впрочем, больше я никогда ничего об этом обществе не слышал, ну да в те годы была ведь невероятная русская мода в Америке: Горби, Берлинская стена и все такое. Несколько утомленный сумбурно клубящимся дамским карнавалом, я спустился в бар. Рядом за стойкой сидела черная пара. Едва де-

вуха отлучилась, ее спутник повернулся ко мне. Он сразу же сказал, что из Эфиопии. Я представился русским. Чем я занимаюсь? Писатель.

— О,— воскликнул он, — у меня сестра замужем за русским писателем! Ан-то-хин, — добавил он по слогам. — Не знаете его?

— Знаю,— кивнул я.

И тут эфиопский принц, совсем как в России, спросил наивно и тревожно:

— А он хороший писатель?

Антохин, насколько мне было известно, давно ничего не писал.

— Отличный, — заверил я арапа...

Но вернемся к Елене Александровне. Она опекала меня. Водила в закрытый «Космос-Клуб», и я впервые был в столь фешенебельном месте. В полупустом фойе, погрузившись в обширное кожаное кресло, дремал над «Вашингтон пост» какой-то седовласый сенатор, спали чинные портреты бакенбардистых джентльменов не нашего времени в золоченых рамах, в пустом светлом ресторане окнами на Потомак тишайше перемещались перчаточные официанты в белых смокингах, кормили необыкновенно, но несколько эфемерно, наличных денег не брали — расходы снимались с текущего членского клубного счета.

Бывали мы и в одной из двух вашингтонских русских церквей, в той, что заграничная, не подчиняющаяся Москве, и я неприлично засмотрелся на матушку — дивной славянской красоты женщину. Это оказалась внучка Родзянко. Звали ее, кажется, Наташа, очень по-

пулярное отчего-то женское имя в первой и второй эмиграции.

Елена Александровна как-то повезла меня на автомобиле в американский Суздаль — старинный городок Элликот. Отсюда некогда была проложена первая в Америке железнодорожная ветка — из самого сердца Вирджинии к Атлантическому побережью. Но в отличие от России, где по такой же пионерской ветке возили царя с семейством на дачу в Царское Село, в Америке за отсутствием монарха транспортировали исключительно пшеницу. Мой гид завела меня в местную антикварную лавочку; за углом старого, покрытого темным лаком бамбукового китайского шкафа она углядела прятавшийся там прошлого века кабинетный халат малинового шелка с густо-синими отворотами — реквизит к «Унесенным ветром». Я примерил. Халат был мне узок в плечах, но Елена Александровна уговорила его купить — хотела, видно, чтоб я глядел барином, — и я не поскаредничал, отдал пятьдесят доллАров, чтобы доставить ей удовольствие; халат до сих пор висит сиротливо у меня в шкафу, и я учту его в завещании...

Однажды Елена Александровна привела меня в гости к некоей русской старушенции и вовсе несусветного возраста: та была при брючках, фиолетово-седом перманенте, библиотеке, зимнем саде на крыше, коллекции европейских картин прошлых веков, ходила, чуть покачиваясь и придерживаясь за стены и мебель. Это оказалась вдова знаменитого некогда американского калифорнийского журналиста Левина, бравшего интервью у Ленина. Говорили они, подтрунивая, между собою так:

— Что ж, Леночка, между нами, молодыми женами, говоря...

Когда-то они и впрямь были молодыми женами бывших их намного старше мужей.

В другой раз мы откушали у полковника ЦРУ князя Чавчавадзе. Выйдя в отставку, он написал мемуары «Кинжал и плащ», если меня не подводит память, и, кажется, из книжного магазина, где князь раздавал автографы, мы и отправились ужинать — по-американски обедать. За столом обсуждались проблемы русского престолонаследия; князь был возможным каким-то там по счету претендентом — не знаю уж каким макаром, можно справиться в Дворянском собрании у князя Андрея Голицына.

Наконец, мы оказались в шикарном особняке, полном все тех же утомленных деньгами и бездельем вашингтонских светских дам. Прием давали по случаю выхода в свет книги какого-то обшарпанного инженера, сбжавшего из СССР на надувной, что ли, лодке. Книга называлась «На мушке КГБ», или что-то в этом роде. Не забудем, что на дворе — 89-й, еще цела империя, а в КГБ верховодит отнюдь не либерал Бакатин, двумя годами позже раздающий американцам планы установки «жучков» в их посольстве, а, кажется, из замшелых мастодонтов коммунистического сыска Чебриков. Здесь же были и двое робких юношей-геофизиков, только что давших деру на Дальнем Востоке с какого-то исследовательского корабля, но книг написать не успевших. Вся компания мне как-то не слишком понравилась. А уж когда меня представили господину Шевченко, нашему беглому послу СССР в ООН, к тому времени уже позорно

преданному его продажной американской любовницей, поджилки у меня дрогнули — мне совсем не светило объясняться по сему поводу в советском посольстве. Но — пронесло, ибо совсем скоро в нью-йоркских лавчонках стали торговать по сходной цене кусочками якобы Берлинской стены, которую разнесли в прах под звуки струн повсеместного Ростроповича. К виолончели мы и перейдем.

Меня привела впервые к нему за кулисы моя вашингтонская приятельница — тоже Наташа — Помар. Наташа входила в круг фанов Ростроповича и, когда тот бывал в Вашингтоне, роилась в группе допущенных в круг маэстро. Помню, как-то мы с ней рыскали по вашингтонским магазинам в поисках настенных часов для кухни Славы в вашингтонской его квартире, чтоб были точно, как на кухнях советских, не знаю, зачем они были нужны, из ностальгии, что ли... Я буду и впредь называть своих персонажей в Америке на американский лад, по имени. Так что я имел удовольствие со Славой вдоволь нацеловаться, выпивая после концерта за кулисами по рюмахе, — впрочем, он не помнит этих ласк, ведь, неверный, перецеловал полмира.

Памятен один из концертов Ростроповича в Кеннеди-Центре. В тот день советское правительство торжественно объявило о возвращении Ростроповичу и Вишневской советского гражданства. Вишневская прилетела по этому поводу из Парижа, а перед концертом Слава успел слетать в Вермонт к Солженицыну — за инструкциями. И вот мэтр вышел на сцену громадного главного зала американской столицы, за его спиной сидел Национальный американский оркестр, которым он

тогда руководил, и вместо увертюры Ростропович, помахивая дирижерской палочкой, зачитал горбачевскую телеграмму и довольно просто сказал: мы с Галей отказываемся от этой чести, пока такую же телеграмму не получит и Александр Исаевич Солженицын. Зал неистово зааплодировал. Один за другим все повставали с мест. (Каждый честный русский человек в этом месте прослезился бы, не исключая вашего покорного слугу.) За спиной Славы поднялся и оркестр. Представляю вам самим оценить смысл этой патетической исторической сцены... В антракте в зале я был представлен Вишневской. Не зная, что сказать, я скромно заметил: зря вы все-таки отказались.

— Это почему же? — агрессивно встrepенулась Галя.

— Теперь вы не получите талонов на сахар...

За кулисами во время краткой беседы за рюмкой водки (Ростропович, впрочем, спешил в посольство, тогда еще чехословацкое, на прием к Вацлаву Гавелу, который впервые посетил Америку), речь зашла о Войновиче. Кажется, Ростропович хлопотал, чтобы Войновичу повысили пенсион на «Свободе». Я спросил, как относится Солженицын к Войновичу после экзерсисов последнего в его антиутопии. Ростропович искренне удивился: отлично относится, у Александра Исаевича есть чувство юмора... Если так, то, кажется, это весьма редкий случай: Солженицын шуток не шутит.

Через много лет я оказался на одном приеме в закрытом московском клубе «Монолит» с Вишневской и Ростроповичем. Вишневская была ослепительна, муж целовался. Я хотел было подойти и напомнить ей о ва-

шингтонском нашем знакомстве, но побоялся показаться навязчивым. Да и талоны на сахар давно отменили...

Я дружил в американской столице с представителями и «Свободы», и «Голоса Америки». Маленькое вашингтонское бюро «Свободы» — главная контора помещалась в Нью-Йорке — возглавлял югославский кромешный диссидент Михайло Михайлов, публицист и философ, потомок первой волны русских эмигрантов. Его сажали, с ним воевал маршал Тито, его выслали, а был он тихий, склонный к невинному сибаритству рассеянный и смешливый человек, недавно женившийся к тому же на советской девушке — дочери соседней Тани Агаповой по переделкинской даче, — я в сотый раз не устаю восхищаться прихотливости узоров, которые без устали вышивает судьба по тоненькой канве наших коротких жизней. «Голос Америки» представлял холостяк Илья Левин, который сейчас, когда я пишу эти строки, работает культурным атташе в посольстве США в Москве. Тогда же он, страдая, горбатился на «Голосе», скучал, развлекая себя как мог. В его квартире перебивали многие русские писатели — скажем, здесь происходили проводы из Америки в Европу, на «Свободу», Алексея Цветкова, и — еще один завиток судьбы — скажу, что Цветков был некогда старшим в компании «Московского времени», о каковом поэтическом объединении я вспоминал в предыдущих главах. У Илюши я встретил поэта, авантюриста и бильярдиста, только что сбежавшего из Союза после какой-то темной автомобильной истории Межирова. Кажется, он впотьмах насмерть сбил на улице Горького пьяненького актера из театра Станиславского, закадычного друга моей подруги, ныне

покойной Лизы Никищихиной, и вот вам еще одна печальная рифма. «Макинтош» Ильи, обученный Димой Приговым, который поспел и сюда — я вообще за рубежом у каждого водопоя обнаруживал его следы,— при включении довольно отчетливо по-русски произносил «здравствуй, барин, здравствуй, милый».

Кстати, о Пригове, о моем Прусаке, если вы еще не догадались. Мы случайно встретились в Вашингтоне, и он пригласил меня на свои чтения в какой-то богатенький американский дом. По-русски здесь никто не знал. Перед Приговым читал стихи воин-афганец — нечто вроде Асадова, но на военную тему. Народ кис. Понимая, что его вирши все равно никто не поймет, Дима, когда подошла его очередь, выступил вперед и исполнил свой обычный номер — закричал кикиморой. Даже у меня, знающего его четверть века, от этой его коронки до сих пор встают волосы дыбом; американцы же, сбивая друг друга, рванулись к дверям, как если бы Пригов возвестил о пожаре. Стоит ли говорить, что ужинать нас не пригласили...

Самым главным развлечением Ильи Левина были все-таки не поэты, но настаивание разных сортов водки — благо в Америке их с полсотни — на различных травах по одному ему ведомым рецептам. Учítывая, что сам он почти не пьет, гостям это хобби казалось весьма симпатичным. Я, скажем, выпивал у него за одно посещение до литра разного цвета и вкуса сивухи, и ничего, очень хорошо шло под китайские пельмени.

В один прекрасный день Илья пригласил Мишу и меня на вернисаж. Мы поехали в старенькой Мишиной машине, купленной долларов за семьсот,— кстати, и

жил он из экономии на границе черного района, и по ночам здесь постреливали. Это была квартирная выставка — где-то в далеком, но богатом пригороде — какого-то весьма успешно продающегося артиста, картины которого вполне могли бы конкурировать с изделиями Никоса Сафронова. Видно, у богатых вдов в те дни в Вашингтоне он был в моде. Ну, мы покрутились среди безвестных шедевров — культурки похавали, как говаривал при случае другой гном Евг. Попов, — но ни выпивки, ни тем более жратвы никто не предлагал. Миша вспомнил, что его жена сегодня сделала вкуснейшие домашние котлеты. Вернулись к Мише, сожрали котлеты под ноль семь «Финляндии». Стало скучно. Я предложил шепотом, когда хозяйка дома вышла из комнаты, поехать на стриптиз. Мои друзья — хоть и старжины, в отличие от меня, западной жизни, — на стриптизе никогда, как выяснилось, не были. Но Миша не мог ударить в грязь лицом и заявил, что слышал об одном невероятном месте, правда, в черном районе, в Мэриленде.

Надо сказать, что черных в Вашингтоне — четыре пятых населения. Именно здесь, в Александрии, совсем рядом с Ди-Си произошло первое историческое освобождение негров после окончания войны Севера и Юга. Коммунальные каменные бараки, в которых поселили бывших рабов, стоят до сих пор. Отношения между черными и белыми — натянутые. Скажем, я ни одного раза в Вашингтоне не видел — ни в ресторане, ни в клубе, ни в баре, ни на улице — черно-белой пары. Когда в университетском и снобистском Джорджтауне провели референдум — тянуть ли туда метро, политически кор-

ректные интеллектуалы решительно сказали «нет»: в противном случае и здесь стало бы полно черных, у которых, по счастью, как правило, нет автомобилей. Так что ночью белым появляться в черных районах Вашингтона, вообще говоря, строго противопоказано. Итак, мы втроем — два записных западных антисоветчика и вчерашний советский литератор-диссидент — покатали сквозь джунгли черного вашингтонского Мэриленда куда-то на северо-восток. После долгих ночных блужданий мы, как это ни странно, нашли-таки вождевленное заведение.

Это был громадный ангар, внутри которого возведены трибуны — на манер хоккейного стадиона,— до отказа набитые возбужденно воющим черным людом исключительно мужского пола. Гремела музыка. Внизу, на площадке, были устроены четыре небольших квадратных подиума, на которых то и дело менялись худенькие и юные черные девочки. Каждая деловито, как у врача, аккуратно раскладывала свое полотенце, сбрасывала халатик, под которым уже ничего не было, ложилась на спинку и принималась исполнять нижний брейк-данс, то есть неистово извиваться и крутиться в неимоверном ритме. В этой аэробике не было ничего от традиционного стриптиза — ни танцев, ни медленного обнажения,— только неистовство молодой плоти, что производило известное эстетическое, но никак не эротическое впечатление. Отработав номер, сверкавшая в лучах прожекторов потная девица получала за подвязку на шоколадной ляжке кучу долларов и исчезала, уступая место новенькой. Я, нахлебавшись пива, тоже разбежался к одной из них со своим долларом. И спросил

даже, как ее зовут. «Ты немец?» — спросила она. Ясное дело, ни один белый американец, будь он даже в белой горячке, не рискнул бы припереться ночью в этот опасный негритянский вертеп...

Года три спустя я столкнулся с Мишей в Москве, в Доме кино. Обнялись. Там происходил какой-то антикоммунистический форум. Стояла жара, мы с Мишей, плюнув на политику, отправились искать холодного баночного пива — тогда в Москве это была еще проблема. И все время он, похохатывая, вспоминал наше мэрилендское приключение. «О тебе до сих пор вспоминают в Вашингтоне», — говорил он.

— Да? — удивился я, польщенный.

— Ну как же! Это же ты нас втравил в эту историю.

Кеннан

В 89-м однажды я нашел на двери своего кабинета в институте Кеннан, от которого получал стипендию, приклеенную записку: «Узнала, что ты тоже здесь. Я теперь ушла из науки и пришла в политику. Галя». Будто извинялась. Мы были давно знакомы: она жила в Ленинграде, занималась этнографией, но была равнодушна к словесности. Приезжая в Москву, приходила в нашу литературную компанию. По обычным меркам это была некрасивая полная молодая женщина, но так могло казаться лишь до того, как она заговорит. К тому же у нее были очень красивые глаза. Она казалась типичной научной сотрудницей. Конечно, мы понимали, что она умна, но о резервах ее воли и бесстрашия не подозревали. Ко времени получения той памятной записки всякий знал ее в лицо, и ее приписка была лишней: она стала активным депутатом Верховного Совета, за засе-

даниями которого следила, затаив дыхание, страна. Вечер мы провели за красным калифорнийским. Она рассказывала, что вполне случайно оказалась в политике: занималась Карабахом и угодила в водоворот тогдашних кавказских событий (после армянских погромов в Сумгаите). Рассказывала о Сахарове, помощницей которого стала. К слову, прочитав доклад, срочно вылетела в Москву: Сахаров вызвал ее.

Это выступление я хорошо помню: она взошла на кафедру, извинилась за свой английский, сказав, что впервые выступает не на родном языке. Она говорила блестяще, без волнения, и чопорная американская аудитория аплодировала ей. С тех пор мы виделись лишь случайно, я всякий раз поражался переменам в ней: она, всегда женственная и мягкая, становилась все строже и жестче. Казалось, она несет нестигаемо все более тяжкий груз ответственного знания: она понимала больше других, но мало кого могла убедить и предупредить. Ей оставалось лишь идти в одиночку впереди тех, кто не так храбр и не так догадлив. Она была завалена предложениями западных университетов, но оставалась в России, не желая в трудную минуту нас с вами покинуть. В последнюю нашу встречу она сказала, что затевает газету и просит участвовать в проекте. Газету она организовала, но в Санкт-Петербурге, и, быть может, эта газета стала последней каплей, предопределившей ее гибель...

Оскорблять ее могла только нечисть, а ведь она находилась среди избранников народа, наших избранников. Каким недочеловеком надо быть, чтобы покушаться на ее жизнь! Стреляли из автомата не только в ее

лицо — стреляли в лицо всем нам. Так начинается фашизм — с убийства самого достойного, воплотившего лучшее, что осталось в стране. Гром грянул, всем пора перекреститься.

Это краткое прощальное слово было написано через несколько дней после гибели Старовойтовой в Петербурге в ноябре 98-го и напечатано в «Общей газете». Мне, собственно, сегодня нечего к этому добавить...

Грант в Кеннане был мне дан, увы, не под новый роман, как Владимиру Войновичу,— не дай Бог чтобы вы подумали, что я не знаю наших взаимных калибров,— который был в том же институте в те же сроки, что и я, и мы много общались. Войнович прикидывал продолжение своего «Чонкина»: тот уехал в Америку и сделался преуспевающим фермером,— но этот замысел, кажется, так и не был воплощен. Мой же проект был посвящен кино.

Дело в том, что в долгие годы литературного непечатанья и простоя у меня были несколько видов заработков: во-первых, так называемая «научная» журналистика — вспоминая с пятого на десятое, чему меня учили в юности на физфаке МГУ, и свои ранние в этом направлении опыты, я опять валял популярные статьи в «Технике и науке», в «Знании — силе» и даже выпустил пару научно-популярных книжонок; второй статьей дохода было внутреннее рецензирование — в основном в «Новом мире»; отдал я дань и восточным переводам — для «Советского писателя», пересочинил сборник киргизских пьес и транслировал какой-то вполне невозможный таджикский роман; но самой сладкой работенкой было писать о кино, хотя бы потому, что я имел

возможность смотреть его сколько душе угодно, один в просмотровом зале, через часть — через две, как Бог на душу положит...

Была замечательная дама в советской кинокритике — Наталья Венжер. К слову, она была всю жизнь замужем за очаровательным господином: был он профессором-физиком и по совместительству внуком Ларисы Рейснер. Так вот, Венжер меня обильно подкармливала в конторе, принадлежавшей кинопрокату и именовавшейся «Информкино», и я накатал для нее сотни маленьких рецензий, рекламных текстов и даже брошюру о шести печатных листах «Сказка в кино», а потом — уже фри ланс — и обзорную статью в «Искусстве кино» о советской кино-эротике, называвшуюся «Любовь под березами». Эти мои подвиги на ниве киноштудий позволили мне сформулировать тему для кеннановского проекта, к литературе имевшую сугубо косвенное отношение.

В Кеннани было куда как вольготно. Это потом, вернувшись в Россию, мы кривим губы при разговорах об Америке, но когда комфортно живешь в Вашингтоне на американскую профессорскую зарплату, а работы у тебя никакой, точнее, такая, которую всерьез стыдно назвать работой, то принимаешься любить Штаты всем сердцем.

Мой проект назывался «Образ Америки в советском кино», и требовалось от меня сочинить несколько десятков страниц за полгода, причем весь материал я привез с собой из Москвы. Впервые и, подозреваю, в последний раз у меня был свой «офис»: кабинет с хитрым телефоном, каковым я так толком и не научился

пользоваться, с компьютером, который отказался переходить на русифицированный «ворд», и с секретаршей Мэри — пятнадцать часов в неделю — из гарвардских студенток-русисток, живо напоминавшей мне отечественных комсомолок-активисток. Ничего этого, вы понимаете, мне не было нужно.

Сверх того я мог неограниченно пользоваться фондами библиотеки конгресса, и заказанные книги милая Мэри доставляла мне прямо на стол в кабинет. Кстати, именно в Кеннана, пользуясь книжками конгресса, я собирал нужные мне материалы для эссе «Мертвые в театре», которые, быть может, вы уже видели в этой книге.

Институт Кеннана административно считался подразделением так называемого Смитсоновского института, которому, помимо прочего, подчинялись почти все государственные музеи Вашингтона. Со зданием этого института, стоящим прямо на The Mall, главном бульваре столицы США — одним концом он утыкается в Капитолий, другим — в монумент Джефферсону, — связан исторический анекдот. Некий англичанин в позапрошлом веке вознамерился подарить родному правительству родовой замок с условием, что замок будет использован для благих, культурных целей. Английское правительство заменжевалось, тянуло время, подарок был громоздок и нелеп, и тогда, обозлившись, англичанин передарил замок Штатам.

Музеи, которые курировал институт и которые выстроились вдоль молла, не производили сногшибательного впечатления — как говаривала Настасья Филипповна: нет во мне ничего остолбеняющего. Естест-

венно-научный музей был беднее московских университетских; в национальной галерее красовалась — подчас чудовищная — живопись времен после войны Севера и Юга, то есть в некотором смысле картины американских передвижников. Действительно интересен был, пожалуй, лишь музей этнографии — прежде всего детальным показом индейских древностей двухвековой давности. Была и галерея современного искусства, архитектурно решенная в стиле московского общественного туалета: спиральная лесенка уводила вниз, под землю, где и помещались два-три небольших зальчика. Я набрел на нее случайно, и сердце подпрыгнуло: в галерее экспонировалась инсталляция Ильи Кабакова «Коммунальная квартира». Я побродил по этому ностальгическому для меня интерьеру, даже дернул ручку бачка над унитазом, — ручка была настоящая. Вот ведь, не было бы Алика Сидорова — и не ведала бы до сих пор вашингтонская публика, что такое коммуналка, у них, людей темных, в их языке и слова-то такого нет. Впрочем, вся публика была представлена мною одним. Не видно было и автора, а ведь всегда сладко неожиданно встретить знакомца в антиподах. И я вспомнил уютные посиделки в мастерской Кабакова на чердаке дома общества «Россия», буквально над комнатой Красивой Дамы из «Гномов», — в мастерскую приходилось пробираться по кое-как уложенной досками тропке сквозь немыслимые чердачные руины; перед входом висела картина — прикрепленная к холсту красная пожарная совковая лопата; и листочки из альбомов, и улыбка Чеширского кота на лице хозяина, и бесконечное его

красноречие — на любую тему: Илья ведь в среде художников канал за философа...

Да, за границей подчас встречаешь людей, с которыми в Москве-то не сталкиваешься. Так, в вашингтонском муниципальном театре «Арина-Стейдж» я однажды случайно наткнулся на целую театральную группу из Москвы: здесь были и критик Инна Вишневская, когда-то писавшая мне рекомендацию в СТД, и весь в неприменном черном, как Фантомас, Толя Васильев, с которым мы были знакомы со времен «Вассы» на Таганке, и замечательный Марик Розовский... Делегация эта приехала в Штаты, лелея втайне возможности совместных проектов — тогда это было в новинку, модно, и деятели театра в эйфории на такую возможность возлагали не меньшие надежды, чем российское правительство на кредиты МВФ. И, помнится, Толя сказал тогда разочарованно и даже несколько растерянно, что американцы улыбаются, но сотрудничать не торопятся. Это и понятно: русские первым делом просили у коллег денег, путая тамошних вполне нищих, как и положено, артистов с фирмой «Мальборо», финансирующей, кстати, все американское оперное искусство... Но вернемся в замок, как говаривал Селин...

Внутри все было мило и уютно. Здесь находилась столовая для сотрудников — четыре доллара за непрерываемый американский ланч с сырыми овощами, супом-пюре и непременно сухой индейкой с пюре картофельным, — скрасить уныние, впрочем, мог прекрасный фруктовый салат со сливками на десерт в неограниченном количестве; перед обедом в фойе разносили бесплатный сухой херес — для fellows. В одной из

замковых башенок помещали почетных гостей Кеннана — здесь на заре своего американского житья писал «Бумажный пейзаж» Василий Аксенов, теперь здесь обретался Войнович, который, впрочем, в институте появлялся редко, а жил себе спокойно в прекрасной квартире с женой — красавицей Ириной и дочерью, заканчивавшей в то время американскую school. В этой просторной квартире я не раз бывал на щедрых приемах. Опять же не могу удержаться: на одной площадке с Войновичем — мотив из «Ночи перед Рождеством» — в Вашингтоне оказался его любимый герой Иванько, какой-то торговый, что ли, представитель,— и те, кто читал «Иванькиаду», вполне оценят ситуацию и согласятся, что литература не только определяет жизнь, но ворожит и предсказывает судьбу.

Сердцем Smithonian была, конечно, библиотека, обширный зал, роскошно декорированный дубом, со всяческими раритетами в кожаных переплетах на полках, закрывавших стены. В библиотеке и происходили все доклады и научные встречи. И каждый сотрудник Кеннана в начале своего срока должен был прочитать здесь пятиминутный доклад о своих творческих намерениях. Читал таковой и я, краснея за свой ужасный английский; здесь же происходило упомянутое выше выступление Гали Старовойтовой. Тут-то и можно было встретить всех сотрудников разом. Это была пестрая, но преимущественно американская университетская славистская публика. Хотя попадались и иностранцы. Помню поляка-юриста, чеха-русиста; встретил я здесь и знакомых еще по Москве: афро-американца, иудея по вероисповеданию, что в Америке случается, корреспон-

дента «Вашингтон пост» в Москве по забытому мною имени, или итальянца Джульета Кьеза, в московском корпункте которого на проспекте Мира доводилось пить мартини, нынче прославившегося своей русофобией в «Стампе». Тогда же он был коммунистом и представлял много лет в СССР газету «Унита» — похоже, свой былой коммунизм он и не может простить Москве.

В библиотеке выступали и одноразовые гости Кеннана. Здесь я впервые увидел Андрея Синявского, но не подошел к нему, и лишь много лет спустя в одном московском доме мы прекрасно поужинали с супругами Синявскими под песенки покойного Валентина Берестова, участника отлично придуманной, но, к сожалению, утратившей без него какой-либо фольклористский интерес и пафос передачи «В нашу гавань заходили корабли». Здесь выступала как-то главный редактор то ли «Работницы», то ли «Крестьянки», роскошная, ухоженная дама имперской номенклатурной выправки и, к моему удивлению, понесла какую-то феминистскую окоlesiцу — в Союзе в те годы никто не стал бы слушать таких речей из таких уст. Но Америка преобразует и не редакторов русских женских журналов — платит и заказывает музыку.

А вот Виктор Астафьев был таким, каков был. В белой «водолазке», сквозь которую тускло светила фиолетовая майка, он битый час рассказывал американской профессуре о своей жене, с которой познакомился еще на фронте. После «лекции» — так это здесь называлось — полагалось угощение в узком кругу сотрудников Кеннана в отдельном кабинете. Раскрасневшись от хереса, не очень понимая, где он находится, Астафьев поднялся

говорить тост. Как раз тогда в Москве еще памятен был скандал, связанный с его перепиской с Натаном Эйдельманом — на темы антисемитизма. Поэтому, когда Астафьев начал с того, о чем отчего-то с умилением говорит всякий русский, впервые попавший в Америку, что, мол, русские и американцы очень похожи, я насторожился. В интонациях Астафьева умиления не было, напротив — некая жесткость: сейчас начнет про евреев, мелькнуло у меня, при том что в Америке эта тема в любом ее повороте строго табуирована, — о евреях здесь могут говорить только сами евреи. Но вышло еще круче.

— И вы, и мы — баб распустили, — молвил классик.

И я еще раз убедился, сколь мы, русские, несовместимы ни с протестантским духом Америки, ни с ее еврейского посева либерализмом. Оно, конечно, можно умиляться внутривидовой схожестью хоть с зулусами, но разнится у нас с американцами даже физиология, не говоря уж о ментальности и метафизике. Схожи лишь политика и ее приемы...

Я в первый же месяц пребывания набросал страниц сорок своего итогового труда, тщательно составил библиографию. Когда я сказал об этом директору, милейшему профессору-историку Терновскому, из первой волны эмиграции, он пришел в недоумение: зачем так много, — но обещал назначить мой итоговый доклад пораньше, мне хотелось развязаться и быть окончательно предоставленным самому себе. Однако, в свою очередь, удивился и я: много лет занимаясь журналистикой, я мог ежедневно тянуть норму в семь-десять

страниц, были бы заказчики. Вообще, к слову, живя в Америке семь месяцев подряд, я не заметил ни малейшего рвения к работе: ни у научных сотрудников, ни у чиновников, ни у работников сервиса; вот что значит растратить протестантский дух, оставив лишь невозможно карикатурную нежность к себе (что называется индивидуализм), паническую повальную заботу о здоровье и потенции и невероятно страстную, с отчаянной надеждой на личное счастье любовь к психоаналитикам... От безделья и в ожидании даты доклада я решил расширить проект и сочинил себе дополнительную рабочую, приятную, впрочем, нагрузку: заказывал в синематике библиотеки конгресса здешние фильмы о русских, то есть решил присочинить к проекту симметричную вторую часть — «Образ России в американском кино». Кстати, выяснилось, что в идеологическом творчестве Голливуда и «Мосфильма» долгие годы и впрямь царила замечательная симметрия, разве что Голливуд был подобротнее, и ни Грета Гарбо, ни Софи Лорен не снимались на студии Довженко.

На просмотре то ли «Шелковых чулок», то ли «Принцессы из Гонконга» я решил, что на ближайший же уик-энд смотаюсь в Нью-Йорк. Американцы взяли с меня подписку, что я не уеду без специального разрешения чуть не Госдепа от Белого дома дальше, чем на сорок миль, — рифма к советскому запрету для иностранцев ездить без разрешения дальше, чем на сорок километров от Мавзолея. Но, решив, что тому, кто не боялся советской власти, американская уж вовсе не страшна, я плюнул на запрет и склизким ноябрьским

днем вышел из вагона «Ам-трэка» — на Пенн-стейшн.

Русский Нью-Йорк

Пропущу свое ошеломление при первом знакомстве с Городом Большого Яблока и Желтого Дьявола. Еще из Вашингтона я созвонился с заочно мне знакомым Петром Вайлем — кто-то дал мне рекомендацию, — и он заранее пригласил меня на какой-то эмигрантский литературный вечер. Даже не озаботившись, где буду ночевать, — потом в Нью-Йорке я много раз находил самые невообразимые прибежища: однажды после пьянки в «Самоваре» (я сидел отчего-то за столом с Александром Абдуловым и его дочкой) ночевал в одной постели размера квин с молодой актерской супружеской парой в захудалом отельчике, куда Пьер Карден поселил труппу Ленкома, которая в те дни показывала бруклинским евреям «Юнона и Авось»; ночевал в студии Володи Орлова — кстати, многолетнего скульптурного соавтора Димы Пригова; однажды меня занесло куда-то в нижний Бронкс с соотечественницей Настей — к каким-то ее пожилым добропорядочным тетушкам, старым девам, и я прекрасно провел время в их особняке с английским парком... Короче, не озаботившись ночлегом, целый день я шлялся вверх-вниз по Бродвею, сидел в кафе в Гринвич-Виллидж, бродил по Литл Итали и все прикидывал — здесь поселиться или, может быть, здесь: обычное фантазерство очарованного странника; впрочем, в Париже, скажем, я не испытал этого колдовства, и только Венеция заставляет то и дело примери-

ваться к одному-другому палаццо на Гранд Канале... В шесть я нашел нужный адрес.

Я вошел с некоторым опозданием и увидел такую картину: на разрозненных стульях, поставленных вполне хаотически, сидела дюжина человек, а перед ними за длинным столом восседал, так сказать, президиум. Я тут же определил Петра Вайля и Сашу Гениса, зная их по фотографиям. Однако, едва я возник на пороге, приветствовали меня не они, а баскетбольного роста молодец, отдаленно напомилавший Омара Шарифа. Это был Сережа Довлатов.

Замечу, что тогда у Довлатова не было столь широкой популярности в метрополии, сказать точнее — не было почти никакой. Его знали по красивому и глубокому баритону, каким он зачитывал свои скрипты на радио «Свобода», хотя только что в Москве была напечатана его повесть «Иностранка». Зато в среде американской русско-еврейской эмиграции он был настоящей звездой, на набережной Брайтон-Бич аборигены толкали друг друга локтями, едва завидев его колоритную фигуру, и все как один с ним раскланивались. Здесь могли не узнать Шварценеггера, но Довлатова здесь знали все.

К слову, именно на Брайтоне, прелестном атлантическом пляже, который мани и мони — этими именами здесь называется магазин «русских продуктов» — превратили в подобие не Одессы даже, а харьковского вокзала 50-х годов, в подвале, с немолодой и, судя по всему, преданной женой, похожей на техничку моего школьного отрочества, и двумя русскими борзыми обитала еще одна достопримечательность литературной

русской Америки — Кока Кузьминский, — я же обещал с ним встречу чуть выше, в главе о вольной печати. Во время единственного моего визита к нему он принимал гостей, как у него это и было заведено, лежа на кушетке — трудно сказать, слезал ли он вообще с нее когда-нибудь. При этом он произвел на меня впечатление деликатнейшего и милейшего человека. В комнате у него стояла своеобразная рождественская елка — деревянная конструкция, устроенная так, что во все стороны от центральной оси торчали мелкие палки, причем в профиль сооружение напоминало пирамиду; на конце каждой из палок сидела зеленая бутылочка из-под «Хайнекена», и все вместе действительно напоминало вечнозеленую елку.

Кузьминский — тип сугубо питерской богемной складки: чудака, эксцентрик, тонкий поэт и знаток поэзии. Про него говорили, что он увез в эмиграцию всю русскую поэзию века — в голове. Он многих и во многом опередил. Он первым собрал антологию русской поэзии века «Голубая лагуна», а уж много позже это попытался повторить Евтушенко. Еще будучи ленинградцем, он прославился тем, что первым открыл некое концептуальное направление, позднее названное «боди-арт». Он экспонировал самого себя и первым опубликовал собственные фото в голом виде — в шемакинском «Аполлоне», за двадцать лет до Толстого, за тридцать лет до Дудинского, Бренера и Кулика, так долго и занудно эпатировавших Москву своими голыми задницами, — впрочем, Олег Кулик, конечно, делал с фантазией и многое другое... Наконец, Кузьминский первым нащупал имидж эдакого литературного эмигранта-

панка, то есть превратил эмигрантскую обездоленность и чуждость стране обитания — в стиль. Вообще Кока показался мне именно человеком стиля, что в эмиграции, поголовно зараженной СПИДом буржуазности, как нынче наша здешняя богема, было редкостью. Хочется думать, он и сейчас лежит на своем диване, поглаживает борзых и мирно потягивает красное калифорнийское...

Итак, я оказался на скучнейших литературных эмигрантских посиделках, посвященных Довлатовым своему старинному другу Андрею Арьеву, уже тогда ставшему, кажется, редактором «Звезды» и впервые прибывшему в Америку. Арьев, естественно, сидел тут же, в президиуме, куда Сережа усадил и меня. Причем попросил, чтобы и я произнес спич. Характерная для него черта: он был начисто лишен бытовой писательской ревности, мелочного стремления тянуть одеяло на себя... Помню забавную сценку, которой завершился этот вечер. Какой-то обшарпанный человек из публики, которому не дали слова, принялся кричать: да где же здесь свобода?! зачем вы меня заставили уехать с родины?! И Сережа сказал мне доверительно, с состраданием к несчастному: он здесь только несколько месяцев, а ведь даже я адаптировался несколько лет. Увы, все уезжавшие из России на Запад всегда считали, что их ждут там одни яркие игрушки и клубника с мартини на ужин...

К вечеру мы были в китайском ресторане в Чайнатауне. По уверениям Вайля и Гениса — лучшим в Нью-Йорке, а уж они-то знают в этом толк, коли вошли в историю российской словесности — помимо прочего —

высокохудожественной поваренной книгой «Русская кухня в изгнании», той самой, что похитила советская таможня. Впрочем, книга эта была издана в России уже тремя или четырьмя годами позже, на заре «демократии». Весь фокус ее был в том, что она как бы пародировала знаменитую сталинскую книгу «О вкусной и здоровой пище». Та, в свою очередь, опиралась на не менее известную поваренную книгу Молоховец — еще предреволюционную, когда рецепты не вызывали гомерического хохота публики. Сталинская калька выглядела издевкой: кто это и где видел в конце сороковых на рынках телятину, которую книга рекомендовала перед обедом подавать гостям в виде холодной закуски. Вайль и Генис перенесли рецепты на Дикий Запад и подробно описывали, что из американской еды может соответствовать ностальгическим русским рецептам. Помнится, в каком-то журнале эту книгу рецензировал Михаил Рощин. «Страшную книгу написали Вайль и Генис», — так заканчивал он свою заметку...

Мы сидели в ресторане за большим круглым столом, в центре которого вращался плоский барабан, уставленный закусками. Пили, кажется, красное вино, Сережа пригублял из бокала. Тогда я еще не знал, что пить ему нельзя вовсе. Сережа был тих, деликатен, очень мало говорил, обворожительно улыбался. Когда мы покидали китайское заведение, он пригласил меня ехать к нему — вместе с Арьевым. Но Вайль-Генис увлекли меня в другую сторону, и, помнится, мы приехали к Саше, еще пили, он показывал мне свою коллекцию чая, и проснулся я одетым на диване в его гостиной с раскалывающейся головой...

Следующая наша встреча с Сережей произошла через месяц, это было 13 января соответственно 90-го года, под русский Старый Новый год. Мой приятель, давний, московский, у которого мы с женой остановились в маленькой квартире в Квинсе, повез нас в эмигрантскую компанию; это оказались немолодые люди — сплошь университетские преподаватели, то есть по стандартам эмиграции люди преуспевшие — и, конечно, никакого божемного налета в этом доме не было. Ближе к полуночи приехали и Довлатовы, Сережа и его красавица жена Лена (об их нервном и красивом романе желающие могут почитать в довлатовской прозе). Я не сразу сообразил, в чем перемена, с ним произошедшая. Но когда он, знаками выманив мою жену в другую комнату, попросил ее незаметно принести стаканчик виски, все понял: он «развязал».

О Сергее Довлатове сегодня много написано. Написано людьми, которые действительно его хорошо и долго знали. Я не стал бы вспоминать наших встреч, представляя дело так, будто рассказываю не о себе, а о нем, если бы не оказался случайным свидетелем его закономерного и трагического конца. Случайному же свидетелю многое виднее, чем тому, кто рядом. В этом смысле характерна наша третья и последняя встреча еще месяцем позже — в офисе радиостанции «Свобода» в Нью-Йорке, куда я явился давать интервью Вайлю в рубрике «Гости Америки» или что-то в этом духе.

Здесь надо сказать пару слов о весьма своеобразном климате этой студии. Располагалась она в фешенебельном районе неподалеку от входа в Сентрал-парк, в фешенебельном же здании, специально построенном

для сдачи его под офисы. Прямо под «Свободой» находилась редакция музыкального канала MTV, и я как-то ехал в лифте с раскрашенной негритянкой, у которой под распахнутым пальто был только абсолютно прозрачный хитон из целлулоида. Потом выяснилось, что это была какая-то убийственно модная в том сезоне рэп-звезда, ехавшая на съемки. Сама контора «Свободы» тоже являла образец фешенебельности, тем причудливее казались царившие там нравы. Даже в советских многотиражках не было такой семейственности. Скажем, здесь работали Петя Вайль и его бывшая жена Рая Вайль; служила дама, прототип довлатовской «иностранки», некогда пассия Магомаева, забыл ее имя; подвизался Саша Генис, какое-то время — жена Гениса, ну и т. д. Все остальное было выдержано строго в духе советской редакции 70-х, в каковой многие сотрудники этого офиса некогда служили в метрополии, в Риге, — это была известная в 70-е «Молодежная газета», столь же либеральная и дразнившая гусей, как старый «Московский комсомолец». После записи гостя вели в кабинет Юрия Гендлера, тогда заведовавшего нью-йоркской студией, а потом управлявшего из Праги всем хозяйством русской «Свободы». В лучших традициях метрополии кто-нибудь посылался за водкой в магазин с напутствиями, чтобы прихватил и закуски. Здесь не резали колбасу на газете, но резали пиццу на картонке, в которую она была запакована. Пицца покупалась на улице рядом с вайн-стор. Брали пиццу руками, пили — стаканами. Разумеется, это была игра в ностальгию, а заодно и проверка гостя — на наивность (тогда визитеры из СССР еще не окончательно надоели хозяевам-

эмигрантам). Помню, собралась причудливая компания. Соломон Волков, тот самый, что вывез тайно из Союза записи своих бесед с Шостаковичем; КГБ грыз локти: о Волкове попросил Брежнева лично Берлингуэр, и генсек презентовал записи итальянскому коллеге Соломона. Был и ироничный и вместе с тем серьезный Борис Парамонов; была и случившаяся здесь же поэтесса Татьяна Щербина — давняя моя приятельница по Москве — с очередным каким-то мужем. Был и Сережа.

Я сразу же обратил внимание на то, как много, нервно и сбивчиво он говорит. Нет, он был совершенно трезв — и не пил; я понял, что он недавно опять «завязал». Я шутливо поделился с ним своим наблюдением и тут же пожалел об этом. Для него это было слишком серьезно: как всякий сильный человек, у которого проблемы с алкоголем, он страшно боялся того, что эта зависимость будет заметна со стороны. Именно на нее я бестактно ему указал, и он замолчал, стушевался.

Помнится, атмосфера царила за столом самая непринужденная, а хозяин кабинета донимал меня бесконечным разговором о ловле судаков. Выяснилось, что он даже член американской судачьей ассоциации, а я неосторожно обмолвился, что имею дом в деревне и иногда рыбачу. Выпив, компания собралась на вернисаж скульптур Гриши Друскина, тогда — недавнего героя аукциона «Сотсби», где произвела сенсацию и ажиотаж нежданно дорогая продажа какого-то его вполне заурядного концептуального изделия. На этот вернисаж ожидался «весь Нью-Йорк».

Сережа совершенно выпадал из этой легкомысленной атмосферы. После первых, взхлеб, речей он

сник и погрузился в меланхолию. По-видимому, испытывал депрессию после «выхода». Идти в галерею он отказался. Я помню его удаляющуюся по нью-йоркской улице высокую фигуру. Банально, но эта фигура поведала мне о нем больше, чем я мог почерпнуть из наших случайных застольных разговоров. Через несколько лет в Москве меня пригласили с телевидения Би-би-си рассказать о русском алкоголизме среди пишущей братии. Рассказывать можно было сутки напролет, но Сережа тогда уже погиб, и о нем я удержался упоминать в этой легкомысленной беседе... Так вот — о «завязке». Для людей творческих и нервных — это тяжелейшее испытание: человек резко меняет режим жизни и чаще всего сходит с колес — возится с автомобилем, огородом, дачей, но — не пишет. Это очень жесткая игра с самим собой, и, кажется, ею-то и занимался Сережа. Банальна и фраза: я еще не знал, что вижу его в последний раз. Но это было так. Вечер прошел пьяно и сумбурно. В галерее действительно было полно «красивых людей», как говаривал Маяковский, какие-то немислимые дамы в искусственных мехах — меха выглядели шикарнее натуральных, а сами дамы, расхаживая по залам и рассматривая чудовищные скульптуры, сжимая при этом в пальцах ножки изящных бокалов с дрянным белым вином, какое дают только на иноземных вернисажах и презентациях (подозреваю, для этого существует какой-то специальный сорт), сияли великолепием; на их фоне вашингтонские львицы казались бы кромешными провинциалками.

Среди этой публики, напоминая фигурой и походкой пингвина, расхаживал, руки за спину, маленький

Эрнст Неизвестный в светло-коричневом кожаном пальто до полу. Замечу, пальто было явно из натуральной лайки, то есть Эрнст не был охвачен тотальной американской экологической корректностью. Даже по походке было заметно, что настроен он весьма подозрительно. Глядя на Неизвестного, я тут же припомнил историю, которую Довлатов успел мне рассказать. Он повеествовал, что где бы и при каких бы обстоятельствах он ни встретился со знаменитым скульптором, тот непременно стрелял у него сигареты. Богатейший скульптор у бедного литератора-эмигранта. Как-то они оказались в Калифорнии на эмигрантском сборище, и их поселили в соседних номерах. Едва обнаружив это, Сережа, по его словам, строго сказал: «Эрнст, я никогда не говорил вам этого, но, пожалуйста, купите себе пачку сигарет». Тот не особенно смутился, а просто сделал вид, что не понимает, в чем дело. Но пообещал. Вечером они встретились в баре. «А, Сережа, — воскликнул Эрнст, — у вас наверняка будет закурить!..» Впрочем, что-то в этом духе я читал много позже в собрании Довлатова, которое в Ленинграде составил и издал тот же Андрей Арьев.

Когда мы выбрались из галереи, Вайль и Генис решили отвести нас на этот раз в корейский ресторан. С нами была Таня Щербина с летучим мужем, еще кто-то. Танечка много позже стала парижанкой, потом главным редактором журнала «Эстет» в Москве, которому не удалось пережить эмбриональный период, а ныне служит просто своего рода достопримечательностью московского литературного и светского пейзажа. Я же помню ее еще не знаменитой, печатающей свои вирши не на компьютере, но на утлой, запиनावшейся пишущей

машинке. Ее очередные сборники очередной муж, помнится, переплетал на дому и продавал товар немногочисленным поклонникам. С этого, кажется, и жили. Когда границы для всех нас открылись, Татьяна расцвела, и я хорошо помню, каким сумасшедшим блеском светились ее дивные глаза, когда она рассказывала, что только что из Мюнхена, в сумочке — билет в Калифорнию, а из Лос-Анджелеса она летит прямо в Париж. Нашему поколению все это досталось вовремя. Поздновато, но все-таки вовремя. А нынешнему уж не понять наших былых восторгов... В памяти отпечаталась еще такая сцена: выйдя из ресторана, мы вдвоем с Сашей Генисом идем по Парк-авеню и поочередно глотаем из горлышка — не буду врать, будто помню, что именно. Мы остановились посреди какого-то сквера, и Саша произнес фразу, которую я запомнил и которая, должно быть, меня так поразила, что на мгновение я протрезвел. «Если бы мне было куда вернуться — я сейчас вернулся бы в Россию не задумываясь», — сказал тогда он.

Теперь-то он обзавелся домом в Нью-Джерси и, надо полагать, уж не помышляет о возвращении, поскольку бывает в Москве по нескольку раз в год — правда, уже порознь с Петей Вайлем, осевшим нынче в Праге. Но тогда он еще ни разу после отъезда не был на родине, и ностальгические иллюзии по поводу «новой России» у него еще не развеялись.

Вообще говоря, тогда, десять с лишним лет назад, эта тема — тема возвращения — была болезненна и остра для эмиграции. Не знаю, что думал по этому поводу Довлатов. Предполагаю, что особых иллюзий он не питал и вряд ли молился на Горбачева, — то, что это

не было ошибкой, выяснилось, впрочем, лишь позже, при Ельцине. Горбачев — надо быть справедливым и благодарным — дал стране, пусть пользовалась этими благами в основном интеллигенция, соль земли, напомним, две степени свободы: знать и ездить. Одно несомненно: если Сережа и подумывал пусть не о возвращении, но хоть о посещении родины, то сказал бы вслед за Солженицыным: не раньше, чем туда вернуться мои книги. Он не дожил чуть-чуть до этого времени, хоть уже и мог быть счастлив: начало этого возвращения он застал.

А ведь вернулись многие писатели: в порядке очередности — Кублановский, Мамлеев, Лимонов, Войнович, Владимов, Зиновьев, не говоря о Солженицыне.

Однако многие остались на Западе: для меня из наиболее оплакиваемых — Василий Аксенов и Юз Алешковский. В тот приезд в Америку я был у Юза в гостях — вместе с Евг. Поповым. Помню, когда мы вернулись с университетской лекции, которую читали с Поповым как бы на два голоса, я, войдя на кухню Юза, налил себе бокал вина из стоявшей на кухонном столе откупоренной бутылки. И Юз взревел: а если б здесь стоял керосин — ты бы тоже выпил?! — тюремное гостеприимство, в камере не дозволено трогать чужие вещи. К тому же нервическое отношение к алкоголю было в нем всегда. Как-то при мне, еще в Москве, он рычал на подвыпившего своего приятеля, переводчика Германа Плисецкого, двоюродного брата Майи, нынче давно покойного: р-р-р-распадок! По-видимому, к особым отношениям со спиртным у Юза были интимные основания —

когда-то, рассказывали давно знавшие его люди, выйдя из лагеря, он очень крепко пил...

Теперь — обещанный рассказ об НТС. В Нью-Йорке действовал филиал немецкой штаб-квартиры «солидаристов», как они себя называли. Мой знакомый Юрий Штейн был членом НТС, а милая его жена Вероника в очень пристойном офисе на Парк-авеню раздавала бесплатно советским визитерам разные замечательные книжки, причем отнюдь не прокламации, а книги по философии, истории и прекрасную беллетристику, до которой в метрополии еще не дошло дело. Штейн и привел меня как-то на заседание. Он был самым молодым, не считая меня, членом собрания. Остальные — действительно зубры антикоммунизма, старики, носившие некогда погоны вермахта. Как это ни странно, уже через пару лет они организуют-таки свой филиал в СССР, что в начале 90-го было невозможно вообразить... Речь шла, помнится, об издательских проектах, и присутствующие захотели знать мое мнение — литератора, только что прибывшего из России. Я сказал что-то в том духе, что многие и многие заграничные издания доходили в разные годы до Москвы, но, разумеется, это был хаотический процесс. И читателю в метрополии неплохо было бы иметь доступ к чему-то вроде тематического каталога... После собрания один из этих господ — Штейн шепнул мне, что это весьма богатый промышленник, — пригласил на ужин в пивной ресторан. Я, признаюсь, терпеть не могу пиво в больших количествах, тем более что закусывать его приходится на Урале пельменями, в Грузии хинкали, в Бельгии картофелем фри, в Германии жирными свиными ногами, —

все это рассчитано на луженые желудки и дубовые головы. Господин меня, конечно, не вербовал банально, но в мягкой форме приглашал к сотрудничеству. Причем отнюдь не из Москвы, у господина, думаю, и мысли не было, что я, попав в Америку, окажусь таким идиотом, чтобы вернуться обратно, — он предлагал мне работу здесь, в Штатах, приговаривая, что им позарез нужны свежие силы и молодые кадры.

Я от этой чести вежливо уклонился. Идея такого рода для меня была в любом случае неприемлема, даже если бы я остался здесь и жил на велфэр, как некогда Лимонов, — не любя коммунистов, я не люблю и фашистов, хоть вовсе не либерал — умеренный консерватор, так можно сказать. К тому ж, нагулявшись по загранице, я остро скучал по Москве. А в качестве компенсации отказа — судьба, если ты не кромешный неудачник, соблюдает сольдо, — в Нью-Йорке я в те же дни получил и еще одно, куда более заманчивое предложение.

Последнее русское слово

В «Новом русском слове» служила тогда текущая жена Петра Вайля Элла. Быть может, именно Петя и подсказал мне предложить свой труд об американо-советском кино в этот эмигрантский орган печати — самый богатый среди нескольких русскоязычных изданий на обоих побережьях, возникающих и, как правило, быстро гаснущих, подобно довлатовскому «Новому американцу», за который Сережа боролся как лев, но кото-

рый все-таки не выжил — не без подножки со стороны хозяина «Слова».

Газета с удовольствием взяла мой материал, и еще до доклада в Кеннане — что, вообще говоря, было некорректно с моей стороны — он был напечатан с продолжением в четырех, что ли, номерах. Потом во всякий приезд в Нью-Йорк я давал в газету какую-нибудь статейку — о театре в метрополии, литературные сплетни и тому подобное, — все это печаталось, и мне в следующий раз выдавался чек. Кстати, тогда визитерам, выступавшим по «Свободе», тоже подбрасывали сотню баксов за интервью, и Петя Вайль щедро поддерживал разных литературных персон из отечества деньгами конгресса. Однако вскоре после моего убийства американцы спохватились, и лавочка прикрылась...

Конечно, отнюдь не я первый протоптал дорожки к этим пусть не богатым, но приятным кассам. Скажем, на страницах «Нового слова» я как-то обнаружил в изумлении материал бывшего комсомольца-активиста Андрея Мальгина, тогда уже редактора либеральной «Столицы». В один из моих визитов в редакцию я был прошен в кабинет хозяина издания — Валерия Вайнберга. И был приглашен им на ленч в дорогой итальянский ресторан. Судя по реакции сотрудников — мне была оказана невероятная честь. И здесь — несколько слов об истории издания. Добродушный Дон-Аминадо в своих воспоминаниях о работе в милюковских парижских «Последних новостях» в конце 20-х отзывается об Андрее Седых — псевдоним Якова Моисеевича Цвибаха (1902-1994) — как о парне веселого нрава и несомненного остроумия, к тому же называет его «королем

репортажа». Впрочем, он же приводит и характеристику Седых, принадлежавшую редактору Полякову:

И при Гроте, и при Дале

Вам бы просто в морду дали...

Седых был из «черты оседлости», из Феодосии, и, кажется, не страдал чрезмерной грамотностью по-русски. Старый анекдот на эту тему приводит Довлатов в «Соло на ундервуде»: в одной из парижских еще корреспонденций Седых писал, как из храма «вынесли ПОРТРЕТ богородицы» (так у Сережи.— Н. К.). Его безграмотность, однако, не помешала ему какое-то время состоять секретарем Бунина и в 33-м году сопровождать академика в Стокгольм на церемонию вручения Нобелевской премии,— по-видимому, был подвижен и уместен.

Он переехал в Штаты после войны и основал «Новое русское слово» — газету, быстро ставшую популярной, окупаемой и — платившей гонорары, редкость в эмиграции, так что в голодные послевоенные годы кто только в ней не печатался — включая Ивана Алексеевича. Финансовая прочность обеспечивалась платой, взимаемой редакцией за многочисленные некрологи,— отчего-то евреи-эмигранты не жалеют денег на вполне анекдотического содержания уведомления о смерти на девятом десятке тети Раи от простуды, скидываясь кланом. В 90-м, когда я стал подвизаться в этой газете, древний Седых, уже отойдя от дел, еще печатал в ней какие-то маразматические статьи, но распорядился изданием полновластно его зять Валерий Вайнберг, получивший газету «за женою» в первой половине 80-х.

Добрые языки говаривали за его спиной, что Валера — идеальный пример человека, не говорящего ни на одном языке. Не его вина: до одиннадцати лет он собирал металлолом в порядке пионерской нагрузки где-то в южных областях советской Украины, потом был вывезен в Израиль, а молодым человеком подарил себя плавильному котлу Америки, где и женился удачно: должно быть, тестю нравилось, что они говорят на схожих наречиях.

Валера был настоящий жлоб, по которому плакали все психоаналитики Манхэттена. Он хвастался — был в состоянии говорить только и исключительно о себе, другие темы его раздражали — своим всем: тайными счетами в Сингапуре, машиной, особняком, костюмами, удачами в биржевой спекуляции; жаловался лишь на жену. Он был невыносим, но — все мы это проходили — с кассой не спорят. Послал я его подальше лишь во второй приезд в Штаты в 91-м, будучи в подпитии, конечно, когда мы сидели в «Самоваре», но еще год он со мной сотрудничал, хотя и не заплатил — аристократ — за материалы, которые получил и напечатал уже после того, как принял решение о разрыве со мной отношений, меня о том, естественно, не уведомив. Фанфарон и грошовый бандит, он был по-своему наивен, желал слушать лишь дифирамбы. Помню, в ресторане с нами сидел его бухгалтер, осатанелый от преданности старый еврей, который шептал мне, едва Валера удалился помочиться: «Что вы говорите, что вы ему говорите, он же может сделать вам состояние...» К слову, и с этим лизоблюдом тот позже расправился безжалостно, выгнав взашей без выходного пособия. Любому внешнему на-

блюдателю, впрочем, было очевидно, что, лаская Валерин нарциссизм, бухгалтер этот его благополучно повседневно обворовывает...

Предложение было таково: я возглавляю, вернувшись в Москву, негласное бюро «Нового русского слова». Это было Валере невероятно по тем временам выгодно — из-за разницы курса. Он платил своим корреспондентам в Штатах долларов пять-шесть за страницу. А в Союзе доллар стоил тогда сто двадцать, что ли, рублей, зарплата молодого МНС. Я платил своим сотрудникам в Москве за строку — десять рублей; деньги мне время от времени приносили какие-то темные личности в мешках — буквально: Валера и на конвертации делал приличный бизнес.

Пригласил я к сотрудничеству своих приятелей, разумеется. Написав четыре статьи, каждая о пяти страничках, в месяц — «Новое русское слово» — газета ежедневная, на шестнадцати полосах, так что переваривала километры материалов, — мой автор получал из рук в руки пару тысяч. Напомню, что новые «Жигули» тогда стоили тысяч семь рублей.

Таким способом я достал из подпольного существования и направил в журналистику талантливейшего писателя Игоря Шевелева; Олега Давыдова, ставшего — много позже, конечно, — первым замом Третьякова в «Независимой», пробавлявшегося до того слежением за «бегущей строкой» на Пушкинской, облагороженный вариант дежурства в бойлерной или работы лифтером; наконец я подкармливал нынешнюю телезвезду Мишу Леонтьева, который после окончания «Плешки» прозя-

бал экономистом бог знает в какой конторе, не ведая еще о своем журналистском даре.

Помню, когда я впервые оказался в редакции «Нового русского слова», меня поразили ее обшарпанность, бедность и глухая провинциальность. Это была одна большая комната на энном каком-то этаже также обшарпанного высотного дома, заставленная конторскими столами с водруженными на них чуть не ундервудами. Здесь за столом у стены лицом к сотрудникам восседала дама, исполнявшая роль главного редактора. За прочими столами размещались сотрудники: и редакторы, и корректоры, и верстальщица, и ретушер, и бог весть кто еще, всем кагалом. Под стать интерьеру были и сами сотрудники — преимущественно советской складки сорока с лишним лет дамы изнуренного вида, дурно и бедно одетые: они действительно недавно выехали из СССР, и, пользуясь их неустроенностью и растерянностью, Валера нанимал их за гроши, а ведь они как на подбор были в прошлой жизни кандидатами наук, преподавателями вузов, светскими дамами. Здесь же обретался и какой-то донельзя ветхий старичок — из прежних, еще седыховских, сотрудников. И — как бриллиант на этом фоне — за одним из столов не поднимавший головы и с невероятной скоростью колотящий по клавишам машинки средних лет господин внешности успешного адвоката, в отличном костюме, в модных очках, с дорогими часами на запястье и в чищенных до блеска дорогих штиблетах. Это был знаменитый некогда в Москве фарцовщик, сын известного адвоката, Саша Рабинович. Писал он под псевдонимом Александр Грант и, к слову, вскоре после моего отъезда стал Гран-

том официально, поменяв фамилию. Отмечу некоторую романтичность этого переименования.

Сам хозяин сидел за стеной в большом комфортабельном кабинете. До часа дня, до ленча, он пребывал решительно трезв, давал указания своим рабам — а это было форменное рабовладение, ибо никаких социальных гарантий, пособий, профсоюзных радостей и прочего сотрудникам, разумеется, положено не было, — но больше интересовался биржевыми спекуляциями, и отсюда, со своего компьютера, каждое утро увлеченно играл — и сам, и через маклера. Когда приходило время обеда и он отправлялся в свой ресторан, наступал покой, и с этой минуты редакция и начинала, собственно, работать... Случай нередкий: много позже я тот же феномен наблюдал в «Общей газете»: не было более творческих и продуктивных периодов в жизни редакции, чем те, когда Егор Яковлев болел или находился в отпуске.

Так вот, Грант. Это была фигура совершенно легендарная в Москве. В Нью-Йорке же, разумеется, ему было не развернуться. Хотя некоторые черточки прежнего Рабиновича, конечно, остались. Скажем, с ним жила белая дворняга, которую он привез с собой в Америку из воркутинского лагеря. Он виртуозно играл в очко и как-то на моих глазах выиграл у Вайнберга — прямо в редакции — прекрасное кожаное кресло. Я однажды ночевал у него. Он уже ушел на службу, когда я проснулся и понял, что опаздываю на какое-то деловое свидание. Я наскоро принял ванну и вылетел пулей. И, лишь покончив с делом, вспомнил со стыдом, что не успел за собой ванну помыть. Я позвонил Саше, чтобы из-

виниться. «О чем речь! — спокойно сказал тот. — Вот если бы ты в ванне кого-нибудь зарезал...»

Сидел он не за махинации — за, что называется, ДТП. Как-то сбил старушку. Когда об этом заговорили, он заметил: мы столько этих старушек передавили, тогда мне просто не повезло... При этом цинизме, как часто бывает, он был тонким знатоком поэзии Серебряного века, прекрасно знал английский и обладал превосходными манерами. И даже такого человека рутина «Нового русского слова» смогла если не подмять, то сдавить. Впрочем, на меня он производил впечатление человека надломленного...

Я так долго говорю о «Новом русском слове» — газете бездарной, пошлой, кромешной — только потому, что, оказываясь в редакции, я ноздрями чувствовал неизбежность тоски эмигрантской судьбы. Вокруг буйствовал невозможный, сумасшедший, невероятно многоликий чудовищный самый большой и богатый город мира. А здесь, в нелепой редакции, эксплуатируемые жлобом и придурком, день за днем выпускали никому не нужную полуграмотную филькину грамоту неглупые люди, зачем-то пожертвовавшие своей настоящей жизнью — пусть не всегда удачливой, пусть временами несчастливой, но другой ведь жизнь и не бывает. И, глядя на них, я еще острее стремился домой как можно скорее. И понимал, что эмиграция — одно из самых тяжелых наказаний из всех, что может послать человеку судьба. Особенно если это не изгнание, а собственная дурная воля... Не верьте эмигрантам, когда они делают вид, что довольны своим выбором. В душе они всегда мучаются и плачут.

Мы сидели у Василия Павловича Аксенова и его жены Майи Кармен в их трехэтажной квартире в кондоминиуме в Джорджтауне в Вашингтоне. Я попивал хозяйское виски, сам Василий Павлович чуть отглатывал шампанское. Дамы не пили вовсе. Аксенов сказал вскользь — обычное писательское тщеславие, я, скажем, лишь недавно научился не интересоваться, что вышло из моего общения с тем или иным журналистом, — что как раз сегодня по какому-то там семьдесят пятому кабелю у него будет часовое интервью. А на этот кабель он не подписан. Тогда Наташа Помар — мы были с ней — сказала, что у нее как раз этот кабель есть. И пригласила всех к себе. Вася не забыл всучить мне бутылку.

Интервью транслировали после полуночи. Соответственно, когда оно закончилось, Васиного виски весьма поубавилось, а время шло к двум. И супруги Аксеновы предложили меня подвезти, хотя я жил на берегу Потوماка, в самом центре, в стороне от Джорджтауна. Впрочем, Вашингтон мал. И вот мы в аксеновском перламутровом «мерседесе» — мечта русского эмигранта с Брайтон-Бич и удачливого черного бандита из Гарлема — летим по бану. Тьма кромешная, на дороге никого, только светится справа по периметру огромное квадратное здание Пентагона, и это сверкание в ночи напоминает всеобщее освещение зоны особого режима — я видел нечто подобное за Уралом. В каком-то месте Вася притормозил, поехал дальше, и тут как из-под земли перед нами возникла патрульная полицейская машина. Повторяю, была глухая тьма, здесь вам не Бельгия, где все баны всеобщно ярко освещены. «Что

им надо?» — выругался Вася сквозь зубы и вылез — объясняться. Два черных полицейских пригласили его к себе в машину. Мы с Майей остались сидеть в перламутре. Прошло пять минут, десять, двадцать. Потом выяснилось, что Вася лишь притормозил, но не остановился на знак «стоп». Это в крошечной тьме: видно, у всех гаишников на всех континентах одна тактика — сидеть в засаде у самых хлебных мест. Потом Вася объяснил, что все это время он предлагал полицейским взятку — что, кстати, весьма опасно в США, но они отвечали лишь: сэр, мы дорожим своей работой. И вот Вася понуро подошел к нам. «Выходите», — сказал со вздохом. И тут из темноты появилось то, что у нас называют «эвакуатором». «Мерседес» подцепили за переднюю подвеску, и, прощально блеснув нам перламутровой попкой, он скрылся во тьме. Мы остались втроем на совершенно пустом темном шоссе. Не могу здесь привести всех слов, что прокричала мужу Майя, самое мягкое из ее выражений звучало так: вот и живи со своими фашистами в своей любимой Америке! Вася помалкивал, кутая подбородок в поднятый воротник твидового пиджака. Мне же припомнилось любимое выражение генеральши Епанчиной из «Идиота»: «И вся эта заграница — одна фантазия, и все мы за границей — одна фантазия. Помяните мое слово, сами увидите».

ЭПИЛОГ 2001 ГОДА

В России империи обрываются неожиданно, как асфальт.

Двадцать первого августа, на сороковом году моей жизни все было кончено. Империя затрещала, накренилась, подломилась. Достаточно было пнуть ее носком ельцинского ботинка, чтоб она рухнула в прах.

И кончалась эпоха, и пришла другая, а с нею — новые люди, и мое поколение стали называть семидесятниками, — и заиграла новая музыка.

Под эти свежие звуки так сладко было вглядываться в то, что было, не питая иллюзий, будто это будет интересно грядущим поколениям, знающим о советских годах понаслышке.

В робкой надежде, что новая эпоха будет милостивее к своим детям, бережливее ко всем своим ученикам и их талантам, что далее — будет место везде и всем, я положил цветы на могилы тех, к кому их век был несправедливо жесток. Они не прожили в России долго, что, конечно, было ошибкой с их стороны. Я — припозднился, и мне досталось ухаживать за этим погостом. Еще раз кланяюсь им и умолкаю, надеясь, что они благосклонно взирают на меня, поставившим точку в этом робком труде, со своих высот, где, если верить слухам, изредка доходящим оттуда, найдется в свой срок место и мне.

ЭПИЛОГ 2008 ГОДА*

Перечитав заключение своей семилетней давности книги «Далее — везде» сегодня, я несколько удивился тому, что по прошествии без малого десяти лет, к сказанному тогда нынче почти нечего добавить. Писано было при другом правителе, и воды утекло немало. Но ничего не изменилось в положении писательском, и по-прежнему незавидна и неуклюжа поза беллетриста. Что ж, мы ничего не в силах здесь исправить. Лишь посетуем, что временные рамки повествования не обо всех милых лицах позволили рассказать. Остался лишь упомянутым Володя Салимон, превосходный поэт, друг, о котором следовало бы написать отдельную главу, но с которым меня свела судьба лишь в 90-ом году. Замечательный режиссер Вадим Абдрашитов, щедрый мужчина и надежный товарищ, который, ежели его попросить, никогда не откажется произнести о тебе несколько теплых слов. А художник Сергей Семенов, соавтор, можно сказать. А брат по ремеслу Валера Шашин. А покойный Саша Ткаченко, который был и щедр, и весел, и так одарен. И сколько еще добрых друзей, которыми разжился в последние годы, не вместились в формат, как изящно выражаются нынче. Что ж, говоря словами еще одного собрата по журналистской и литературной стезе Александра Кабакова, — всё поправимо...

* эпилог писался для переиздания книги «Далее — везде» в из-ве АСТ; издание не состоялось

примечания

варианты отдельных глав или их фрагменты публиковались первоначально, до доработки и дополнений, в следующих изданиях:

Гл. I. ГОРОХ , «Золотой векъ» №10, 1997

Гл. II. ДЕТСКОЕ, там же

Гл. III. И ПИТАЕТСЯ НЕ ЩАМИ, «Октябрь», № 12, 1998

Гл. IV. СКОЛЬЗКАЯ ДОРОЖКА, «Дарин» № 2, 1996;
(сокр. вар. под названием «Красный уголок», «Огонек» № 44, декабрь. 1999)

Гл. V. В ПОДПОЛЬЕ, НГ 1 июля 2000; Октябрь №11, 2000

Гл. VI. СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ, в сокращении НГ, №21, 5 февраля 2000; Октябрь №11, 2000

Гл. VII. ...И СЕМЬ ГНОМОВ, «Октябрь» №6, 2001

Гл. VIII. ДРАГОЦЕННЫЙ БИСЕР, без примечаний — «Литературное А-Я», Париж, 1985; «Новая русская литература», 1986; а также Евгений Харитонов, Сочинения в 2-х томах, из-во «Глагол», 1988, т.2

Гл. IX. ВТОРАЯ ПЕЧАТЬ, под названием «Слава Лен и другие» НГ, 12 мая 2001

Гл. X. И ЗАНАВЕС ЗАКРЫВАЕТСЯ, фрагмент под названием «Как я инсценировал классика», НГ, 1996;

Гл. XII. ТОТ СВЕТ, фрагмент под названием «Комьюнити российской словесности», «Дарин», №1, 1996